ДЗЕРЖИНСКИЙ

К СТОЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ

СИЛЬВИЯ ФРОЛОВ

ЛЮБОВЬ И РЕВОЛЮЦИЯ

К 100-летию революции

Сильвия Фролов

Дзержинский. Любовь и революция

«АСТ»
2017

УДК 929(47+57)
ББК 63.3(2)6-8

Фролов С.

Дзержинский. Любовь и революция / С. Фролов — «АСТ», 2017 — (К 100-летию революции)

ISBN 978-5-17-090486-0

Я верю только в учение Христа (…) Верю, что Бог наш Иисус Христос – это любовь. Иного Бога, кроме него, у меня нет – писал Дзержинский: польский шляхтич, родственник Юзефа Пилсудского, кристально честный человек, любящий отец, заботливый брат и благодетель детей-сирот. Тот, кто сделал головокружительную карьеру на службе большевистскому режиму, кто руками подчинённой ему ВЧК истребил сотни тысяч людей и привёл к власти Иосифа Сталина, чтобы потом горько об этом пожалеть. Первая в свободной Польше многогранная и во многом неоднозначная биография Железного Феликса. В книгу включены ранее нигде не публиковавшиеся письма Дзержинского родным и любовные признания, адресованные любовницам – перехваченные службой государственной безопасности и скрытые на несколько десятков лет в совершенно секретных московских архивах, чтобы не допустить скандала.

УДК 929(47+57)
ББК 63.3(2)6-8

ISBN 978-5-17-090486-0

© Фролов С., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

Насколько мифичен миф. Вступление 6
Польский период 13
I. Я вспоминаю вас добрым словом. Семья 13
II. Свет пришел с востока. Революционеры 23
III. Как густав стал Конрадом. Вильно 28
IV. Юноша из огня и серы. Агитатор 34
V. Первая любовь. первая ссылка 39
VI. Речь идет обо всем мире. Организатор 44
VII. Я – христианин. Неизвестное письмо 49
VIII. Тот, которого ловят и вяжут. Беглец 53
IX. У него большевистское сердце. Профессиональный революционер 58
Конец ознакомительного фрагмента. 62

Сильвия Фролов
Дзержинский. Любовь и революция

Я начинаю любить человечество по образцу Марата:
Чтобы осчастливить самую малую его часть,
Я, наверное, был бы готов уничтожить остальных огнем и мечом.
Виссарион Белинский, 1841

Насколько мифичен миф. Вступление

Представим себе процесс над Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Возможно, он выглядел бы так?

– Высокий Суд, вы все, наверное, слышали о случае, который произошел в кабинете начальника ВЧК на Лубянке в начале сентября 1918 года. Сразу после покушения на Ленина. – Прокурор поднял руку и, жестикулируя, стал в красках описывать ту сцену: – Фанни Каплан, молодую женщину, которая пыталась убить вождя революции, привели в кабинет товарища Дзержинского. Там её ждали трое мужчин. Дзержинский сидел за столом и курил, комиссар Жерсон стоял посреди кабинета, засунув руки в карманы, а пожилой чекист с азиатскими чертами, по-видимому, китаец, который привел арестованную, встал у окна. Измученная допросами, вся избитая Каплан со стоном упала на пол. Жерсон подошел, наклонился над ней и задал какой-то вопрос, потом второй. Каплан пыталась отвечать, но речь ее была настолько невнятна и хаотична, что понять ее было невозможно. Тогда в кабинет вошел второй китаец, помоложе. Жерсон кивнул головой. Молодой китаец отдал пожилому небольшую кружку, после чего быстро подошел к Каплан. Одной рукой он схватил ее за голову, в другой сверкнул нож. Он просунул лезвие ножа между сжатыми зубами лежащей женщины. Когда же она от сильной боли разжала зубы, пожилой китаец влил ей в рот что-то из кружки – прокурор сделал небольшую паузу и обвел взглядом зал. – Каплан поперхнулась, ее лицо покраснело, потом посинело. Она стала вырываться из рук державшего ее чекиста, корчилась на полу, билась о доски головой, руками, ногами. Дзержинский вскочил из-за стола, не понимая, что происходит. Китаец услужливо объяснил ему, что это растопленный воск. Он застывает в горле и душит. Молодая женщина схватилась за горло, она раздирала себе ногтями рот, но не могла избавиться от воска. Дзержинский немного выждал. Потом он достал пистолет и выстрелил два раза. Первая пуля добила террористку. Вторая уложила пожилого китайца[1]. Высокий Суд, так была убита Фанни Каплан – последние слова прокурор произнес так громко, что эхо, отразившись от высокого свода, прогремело над залом подобно канонаде. Многие из присутствующих инстинктивно вжали головы в плечи.

– Высокий Суд, я решительно протестую! – вскочил со своего места защитник. – Событие, которое нам обрисовал господин прокурор не подкреплено доказательствами. Все происходило как раз наоборот, – он говорил быстро, но убедительно. Было видно, что он уверен в себе и хорошо подготовлен к судебному разбирательству. Он поправил очки. – Дзержинский учил чекистов, как распознавать и обезвреживать врагов. Он требовал от них строгого соблюдения ленинских принципов революционной законности, вежливого обращения с арестованными. Когда в конце февраля 1918 года он узнал, что один из сотрудников ВЧК позволил себе грубо обходиться с арестованным, он лично расследовал это дело. В протоколе следствия он записал: «Комиссия постановила привлечь виновного к суровой ответственности и в будущем отдавать под суд каждого, кто позволит себе хотя бы дотронуться до аре-

стованного»[2]. Таким был Дзержинский, – защитник прервал свою речь, так как его слова вызвали шум в зале.

– Позор! Враньё! Именно так все и было! – вперемешку раздавались выкрики людей, следивших за процессом. Кто-то громко ловил ртом воздух, кто-то встал со своего места и нервно размахивал руками, пытаясь что-то крикнуть. Зал бурлил все сильнее. – Прошу тишины, успокойтесь! – пытался вмешаться в этот хаос судья, раз за разом ударяя молотком. – Я буду вынужден прервать заседание! – Но его никто не слушал. Люди в зале лихорадочно обсуждали услышанное. – Хотим правды! – слышалось со всех сторон. Публика утихомирилась лишь тогда, когда на середину зала вышли трое рослых сотрудников охраны суда, вызванные судьей.

– Вы ошибаетесь, уважаемый господин защитник! – вновь взял слово прокурор. – Высокий Суд, я позволю себе на секундочку отойти от личности обвиняемого и обратиться к учреждению, которое Феликс Дзержинский создал. Не следует забывать, – начал он – что красный террор соединил в себе маниакальную идеологию большевиков с народной культурой насилия. В личности чекиста произошел их синтез. Одичавшие матросы и солдаты, утратившие всякую меру ненависти к людям, носящим очки, образованным, с либеральными взглядами и хорошо питающимся, не представляющие себе мироустройства иначе, как непрерывное зрелище насилия, а также уголовники, хулиганы и психически больные – все они представляли собой среду, из которой ЧК рекрутировала свои кадры – на какой-то момент обвинитель остановился, чтобы проверить, какое впечатление он производит на собравшихся. После короткой паузы он продолжал: – Везде, где чекисты уничтожали классового врага во имя революции, чинились ужасающие, чудовищные злодеяния, уже полностью заслоняющие большевистскую драматургию. Жертвы бросали в кипящую воду, с живых сдирали кожу, сажали на кол, заживо сжигали или закапывали в могилы, нагими выводили на мороз и поливали водой до тех пор, пока они не превращались в ледяные статуи[3]. И кто должен отвечать за все эти зверства? Обвиняемый Феликс Эдмундович Дзержинский! Председатель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем!

Услышав такое, зал застыл. Мурашки поползли по спинам людей. Теперь все взгляды были устремлены на защитника. Тот дал знак судье, что хочет говорить.

Высокий Суд, я беру на себя смелость утверждать, что обвиняемый ничего не знал о такого рода преступлениях. А если бы знал, то наверняка запретил бы что-либо подобное, и виновные понесли бы заслуженное наказание. Согласно его указаниям вся следственная работа велась при строгом соблюдении норм революционной законности. Он не допускал никакого злоупотребления властью. Вина арестованных доказывалась на основании конкретных фактов, документов, свидетельских показаний. Невинных освобождали немедленно после проверки, им помогали найти работу и жилье[4]. По личному приказу Дзержинского! – защитник на секунду замолчал, перевел дыхание. – А что касается зверств красных, то они ничем не отличались от злодеяний, совершаемых белыми в отношении большевиков – он поднял над головой густо исписанный лист бумаги. – Например, в Воткинске белые истребили на баржах смерти порядка тысячи человек (умерщвляя по 10 человек каждый день). Арестованных расстреливали, закалывали штыками, разрывали на части. Такие же казни проводились в Ижевске. Как говорят, комендант этого города, Суворов, при этом восклицал (наверняка, преувеличивая): «…я добиваю уже четвертую тысячу коммунистов. Не расходуйте зря патроны, саблями их, поленьями!». После того, как белые вновь взяли Ижевск, колчаковцы пустили по Каме плоты с установленными на них виселицами, увешанными трупами красных – точно так, как двумя веками ранее царские воеводы поступали с казачьими бунтовщиками[5]. Уверяю вас, что располагаю значительно большим количеством примеров подобного типа…

На этот раз в зале судебных заседаний поднялся такой шум, что охране суда пришлось силой вывести из зала нескольких крикунов. Чтобы успокоить собравшихся, судья объявил часовой перерыв в слушаниях.

* * *

В действительности процесса против Феликса Дзержинского никогда не было. Но если бы он состоялся, то подсудимый оказался бы под огнем всех этих обвинений. Для одних – красный палач России, для других – кристально честный и добрый человек. С момента создания Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем – обычно называемой просто Чека – он для всех стал объектом пристального интереса.

Прежде всего, он попал под прицел польского общественного мнения, что никого не должно удивлять. С одной стороны, молоденькое польское государство после двух лет независимости было вынуждено вступить в конфронтацию с мощным врагом, который во имя новых лозунгов хотел вернуть старый великодержавный порядок, с другой – этот порядок поддерживала группа поляков во главе с польским создателем советской службы безопасности. Таким образом, неприязнь к вероятному главе Польской Социалистической Республики Советов, которым стал бы Дзержинский в случае победы большевиков в 1920 году, была вполне обоснована – но одновременно и преувеличена. Его международный портрет – это изображение с пропагандистского плаката времен варшавского сражения: красный убийца-психопат с оскаленными клыками вампира, ставший отличной питательной средой для литературы.

Сразу после смерти Дзержинского в 1926 году появились многочисленные воспоминания, главным образом на страницах периодических изданий соответствующей политической ориентации. Эти воспоминания предназначались узкому кругу читателей и отвечали их вполне понятным ожиданиям. Голод на сенсации из сфер большевистской верхушки, лучше всего в форме популярной сплетни, был настолько силен, что давал возможность проявить себя авторам криминалов и романов с любовной интригой.

Близкая к документальной книга Фердинанда Антония Оссендовского *Renun*, изданная в 1930 году, быстро завоевала издательский рынок. Достоверность этой книге придавала биография автора, который находился в России во время гражданской войны. Ярый антикоммунист Оссендовский действительно передавал на Запад ценную информацию, взять хотя бы сведения о финансировании деятельности Ленина германским правительством, но сам Оссендовский, сотрудничая с белыми, большую часть информации получал из других рук. С новыми жильцами Кремля, которых он описал, он никогда не был знаком лично, поэтому в книге об основателе государства диктатуры пролетариата он совершенно свободно тасует факты и вымысел, размашисто орудуя пером с бесцеремонностью графомана. В наиболее отрицательном виде здесь представлен Дзержинский – в истинно голливудском стиле ужастиков про графа Дракулу. Все зло большевистской России концентрируется в этом человеке, которого Ленин презирает и к которому питает отвращение.

И в этом мнении Оссендовский был не одинок. Итальянский писатель и журналист Курцио Малапарте после посещения СССР написал беллетризированную *Легенду Ленина*, в которой упомянул, что Ленин питал к председателю ВЧК почти физическое отвращение. Принимая эту информацию к сведению, следует, однако, помнить, в какое время Малапарте посетил Россию. В 1929 году! Как раз начала раскручиваться сталинская машина террора. Новому вождю, претворявшему в жизнь собственную интерпретацию ленинизма, нужно было исключительное право на культ основателя большевистского государства. По мере нарастания очередной волны насилия – которую уже не удавалось объяснить войной – память о первом чекисте могла представлять для Сталина угрозу. Дзержинский ассоции-

ровался с вежливостью и с бескорыстной преданностью делу – в то время как генералиссимус заполнил Лубянку лишенными стыда и совести карьеристами, выполняющими самую грязную работу, не задавая никаких вопросов. Еще в начале тридцатых годов поговаривали, что во времена Дзержинского нечто подобное трудно было себе даже представить. Сталин приходил в бешенство, когда до него доходили такие голоса. Поэтому в кулуарах он распространял слухи об отвращении, которое питал Ленин к председателю ВЧК, а последнему он приписывал черты садиста, испытывающего удовольствие от истязания своих жертв.

Фердинанд Антоний Оссодовский, как выдающийся графоман, представлял свой персонаж, сконцентрировавшись на его физических свойствах, которые, в свою очередь, должны были объяснить личностные качества и мотивы поступков. У него Ленин ежеминутно щурил монгольские глазки, а о Феликсе автор пишет так: «Вдруг вынырнуло лицо Дзержинского. Бледное, безумное, с запавшими, холодными, раскосыми глазами, наполовину прикрытыми дергающимися веками, с жутко сведенными судорогой мышцами щек и со скривленными, запавшими губами. Лицо тихо смеялось и издавало легкое шипенье». Решения, которые этот монстр принимал в своей жизни, автор объяснял просто: «Он горел ненавистью ко всему миру. Мечтал отомстить всему живому и всему, что было создано живыми существами. Он жаждал видеть вокруг себя кровь, тела убитых и замученных, кладбища, руины и пожарища и над всем этим – смертельную тишину»[6]. Еще больше пикантности добавляет сцена, когда Дзержинский угрожает Ленину, что убьет его и захватит власть, если тот не подпишет декрет о его назначении вождем коммунистической Польши. И мысль о том, что жажда власти, без сомнения, толкала его на занятие кремлевского престола. Это последнее мнение характерно только для польских авторов. Является ли это свидетельством тайных националистических желаний, чтобы именно так и произошло?

Тему «красного палача» с удовольствием подхватил граф Богдан Якса-Роникер, лично знавший Феликса. Осенью 1912 года они вместе сидели в Павяке, куда граф попал за убийство своего шурина (из-за имущества семьи)[7]. Этот польский Мюнхаузен, слывший кутилой и мошенником, после смерти Дзержинского быстро почуял, откуда ветер дует. Сообразив, что скоро настанет мода на пикантные истории о Дзержинском, он, не стесняясь, стал навещать сестру Феликса Альдону Кояллович и вытягивать из нее рассказы об их семье, чтобы потом подогнать их к заранее выдуманному сюжету. Альдона же – всю жизнь чувствовавшая себя обязанной заботиться о брате и нести ответственность за его поступки, переживавшая муки из-за мифа о палаче России – не ожидая подвоха, с благодарностью принимала уверения графа в его полной лояльности[8]. Позже биограф Дзержинского Ежи Охманский так отзывался о книге Якса-Роникера: «историческая правда, в том числе большое количество подлинных подробностей, не известных современным биографам, (…) переплетается с ложью, приправленной клеветой»[9].

Граф, издав в 1933 году беллетризированную биографию *Дзержинский. Красный палач – золотое сердце*, находился под сильным влиянием книги Оссендовского. Тот же возвышенный и театральный стиль, тот же психологизм, основанный на самых дешевых приемах. По мнению графа, многие приговоры Дзержинский сам лично приводил в исполнение. Сажал людей на электрический стул или доставал из ящика стола пистолет и неожиданно стрелял в подследственного. Это из книжки Якса-Роникера взят фрагмент о пытках и убийстве Фанни Каплан – в действительности расстрелянной комендантом Кремля Павлом Малковым. И растопленный воск перед казнью никто ей в горло не вливал.

Официальные биографии Феликса Дзержинского, написанные в период СССР и ПНР также трудно считать достоверными[10]. Написанные под диктовку идеологии, вычищенные цензурой и напичканные партийным новоязом, создали Дзержинскому образ «вечного огня» – как после смерти его называл Сталин. До определенного времени было запрещено

затрагивать темы личной жизни, сосредоточивались исключительно на политической деятельности «несгибаемого рыцаря революции». Со временем позволили использовать семейный мотив: сначала жена и сын, затем круг сестер и братьев и, наконец, женщины – но с неизменным замалчиванием некоторых сюжетов. Более искренними являются личные воспоминания бывших сотрудников и товарищей председателя ВЧК, опубликованные сразу после его смерти на страницах издаваемого в Москве периодического журнала «С поля боя»[11].

Главные биографы Дзержинского поляки Ян Собчак и Ежи Охманский придерживаются фактографии и хронологии. Многое они берут у советских биографов, но радикализм последних они заменяют эвфемизмом или очередным замалчиванием. Зато они упоминают о том факте, что свадьба Феликса и Софьи Мушкат-Дзержинской состоялась в католическом костеле. Под конец жизни Софья тоже написала книгу, посвященную мужу: *В годы великих боев.* Но ее воспоминания неровны. Они писались в Советском Союзе и не самостоятельно, а при участии ассистентов. Первая часть, посвященная польскому периоду и эмиграции, написана значительно более живым и интересным языком. Несмотря на идеологическую направленность, она имеет обаяние личной исповеди. Вторая часть – это всего лишь пропагандистские высказывания большевистской активистки.

После сорока пяти лет реального социализма – включая самый тяжелый сталинский период, когда культ товарища Дзержинского навязывался его соотечественникам силой – вместе с демократией девяностых годов в Польше возродились санационные[1] симпатии и антипатии. Вновь появились книги Оссендовского и Якса-Роникера – ранее запрещенные, а теперь принимаемые на веру, несмотря на новые предисловия, рекомендующие с осторожностью подходить к оценке этой литературы. Что касается мифов о Дзержинском, то многим было не по себе от его происхождения. Невозможно было поверить, что польский шляхтич мог отречься от католической самоидентификации в пользу интернационализма и атеизма. Надо было состряпать ему новую биографию. Самым простым было сделать из него еврея, создателя жидокоммуны, используя второе имя его отца – Руфин – в качестве доказательства еврейских корней. Это нелогично, потому что это имя имеет латинское происхождение, а покровительствует ему святой Руфин Аквилейский. Миф оказался, однако, настолько убедительным, что дожил и до нашего времени. Как ни в чем не бывало, он особенно хорошо чувствует себя в интернете.

В 1993 году вышла биография Феликса Дзержинского авторства Ежи Лонтки под примечательным названием *Кровавый апостол* – первое исследование, проведенное в независимой Польше. Работа скорее журналистская, чем историческая, с попыткой психологического анализа. Но с ее опубликованием Лонтка имел проблемы. Несколько издателей отказались ее печатать, несмотря на положительные рецензии. По всей видимости, еще было не время. Польша сбрасывала с себя коммунистическое прошлое, все внимание было сосредоточено на инфляции, приватизации и безработице. Отчета требовали от живых. Бетонный Дзержинский, стоявший на Банковской площади в Варшаве, был символически свергнут 16 ноября 1989 года. Он развалился на три части, которые были перевезены на хранение под варшавским мостом Грота-Ровецкого. Казалось, что народу этого было достаточно. С отвращением отряхнули руки. И с удовольствием от того, что «вечный огонь» погас навсегда.

Тело Феликса Дзержинского до сих пор лежит у изголовья Ленина на Красной площади в Москве. Его портреты все еще висят в отделениях российской полиции. А история этого человека продолжает вызывать крайние эмоции. По крайней мере, в Польше. Это одна из причин, по которым я решила взяться за эту тему заново – одна, но не единственная. Эта книга является для меня также своего рода личным отчетом: все мое детство прошло

[1] Санация: в буржуазной Польше – лагерь сторонников Пилсудского. – *Прим. перев.*

на улице, соседней с улицей Ф.Дзержинского – очень длинной, наверное, самой длинной в Кракове. Для меня она тогда была улицей без конца[2]. Если бы в то время мне задали вопрос: кем был Феликс Дзержинский? – я бы ответила: плохим человеком. Хотя мне никто этого не говорил. Я не имела ни малейшего понятия, как он выглядел. Он был всего лишь набором букв на синих уличных табличках. Но я знала одно – все вокруг меня происходило из-за этого человека. Даже я сама была из-за него. Если бы не он, то ни мой русский дедушка, рожденный в Харбине, ни моя польская мама, рожденная в Вильно (Вильнюс. – *Прим. перев.*), не поселились бы в Кракове. И, несмотря на это, я ненавидела Дзержинского. За что? За то, что Чеслав Милош в *Порабощенном разуме* назвал «неотвратимостью новой системы». Я, конечно, не могла знать, что такое «система», тем более «неотвратимость» и «порабощение». Даже прилагательное «новая» звучало абстрактно, потому что другой системы я не знала. Для меня она ассоциировалась с неисполнимой мечтой поесть бананов, невозможностью выезда за границу, кошмаром горно-металлургической академии в Кракове, с тяжелой атмосферой лжи, отравлявшей воздух не меньше, чем трубы металлургического комбината в Новой Гуте. Все это порождало сознание того, что на этой улице без конца я никогда не дождусь конца. Даже если бы появился и более личный повод ненавидеть Дзержинского. Но об этом я узнала спустя годы, когда мне представился случай прочитать его телеграмму от 16 ноября 1920 года, направленную председателю симферопольской ЧК Василию Манцеву. Дзержинский писал в ней: «Сделайте все, чтобы из Крыма не ушел на материк ни один белогвардеец»[12]. Около недели спустя, 22 ноября, чекистская тройка под председательством Манцева приговорила к смерти 857 воинов армии Врангеля. Приговор приведен в исполнение. Среди них был мой прадед полковник Матвей Матвеевич Фролов.

Улицы Дзержинского в Кракове давно уже нет. Есть, как до войны, улица Юлиуша Лео, президент города в начале XX века. Я давно уже не ребенок. И все было бы хорошо, если бы не чувство дискомфорта, которое не исчезло вместе со старой табличкой. Не исчезло, потому что двадцать лет независимости привели нас к горькому выводу: снос памятников не отпугнет демонов истории. Потому что их натура – это натура чудовищного Господина Когито[3] – они как огромная депрессия, раскинутая над страной. И время от времени они будят нас извержением сообщений о происходящих событиях, как притихший на мгновение вулкан.

У меня тоже было свое чудовище. И спустя годы я посчитала, что пришло время вызвать его на грешную землю. Посмотреть в эти чудовищные глаза, проанализировать и назвать по имени, а потом запихнуть в рамки конкретной дефиниции. Но по мере того, как я углублялась в тему, мне становилось ясно, что моему чудовищу не так просто дать определение. Я кружила в свете мифов, стереотипов, исторической лжи и правды, часто с трудом отличая добро от зла и с нарастающим любопытством ставя новые вопросы. Ибо мое чудовище было удивительным! Упаси, Господи, не с точки зрения идеологического выбора – такой выбор был далек от моего. Речь шла, скорее, о сложных переплетениях судьбы на фоне истории, о психологическом контексте, о попытке понять, почему обычный польский шляхтич, воспитанный в католической романтической атмосфере, сам очень религиозный, выбрал коммунизм и реализовывал эту идею самым кровавым из возможных способом. Почему он стал полной противоположностью другого польского шляхтича, воспитанного в точно таких же условиях и с которым он породнился посредством супружества племянника и племянницы, человека, тоже сделавшего ставку на социализм, но успевшего в важный для

---

[2] Улица без конца… В 1952 году улицу Юлиуша Лео в Кракове переименовали в улицу Феликса Дзержинского. По соседству с этой улицей автор провела все свое детство.

[3] * Господин Когито – персонаж поэзии Збигнева Херберта – польского поэта, драматурга, эссеиста (1924–1998) – *Прим. перев.*

Польши момент сойти на остановке "Независимость". Я испытывала при этом крайне противоположные эмоциональные состояния – я начинала Дзержинского любить, потом вновь ненавидеть, в зависимости от материалов, к которым я обращалась. Я перешла с ним на ты, он стал для меня Феликсом. То я его защищала, играя роль адвоката дьявола, то вне себя от возмущения обвиняла. Я задавалась вопросом, как могло случиться, что хороший человек превратился во зло, притом во имя любви к людям.

И именно эта неоднозначность оказалась удивительной. Тем более, что все произошло по желанию Феликса: ведь он хотел видеть мир черно-белым – именно такую легенду ему и состряпали. Таким образом, я решила, что моей задачей является вскрыть разные оттенки серого, вопреки его заклятым врагам и ярым апологетам, вопреки мне самой, какой я была годы назад, а может и вопреки Дзержинскому.

Как поляк и не состоявшийся католический священник, он занозой сидит в нашем хорошем национальном самочувствии. Как человек он представляет собой великую загадку, сравнимую с героем романа Достоевского. С полным набором эмоций, с широким диапазоном все еще не до конца понятных способов делать тот или иной выбор, отчаянно мечущийся между необходимостью, убеждениями и совестью – своей биографией он мог бы соперничать со Ставрогиным, Иваном Карамазовым, но и с его братом… Алешей. Ибо он любил человечество убийственной любовью инквизитора. В другое время и в другом месте у него был бы шанс стать святым.

Польский период

I. Я вспоминаю вас добрым словом. Семья

> Мама при свете лампы рассказывала, за окном шумел лес, а она рассказывала о преследовании, о том, как поступали в отношении униатов, о принуждении петь молитвы в костелах по-русски – на том основании, что эти католики были белорусами – я помню ее рассказы о выплате контрибуции, о самых разнообразных издевательствах и унижении[13]

– вспоминал в 1914 году в письме жене сидящий в X павильоне Варшавской цитадели Феликс Дзержинский. Он любил родной дом, а ностальгия по детству охватывала его сильнее всего во время отсидок сроков по приговорам судов. В общей сложности он отсидел одиннадцать лет, и времени на воспоминания у него было достаточно. Потом он принимался писать письма и образы, всплывающие перед его мысленным взором, переносил на бумагу.

Эти воспоминания польского мальчика, детство которого прошло в бывшей Виленской губернии, ничем не отличались от воспоминаний других детей выросших в дворянских усадьбах XIX века, разбросанных по всей обширной территории Кресов[4]. Патриотизм, порожденный восстанием[5], ограничивался здесь четырьмя стенами своего дома, а дома с детьми находилась главным образом мать. В том же духе высказывались Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий. А потом Юзеф Пилсудский:

Все мои мечты были сосредоточены тогда на восстании и вооруженной борьбе с москалями, которых я всей душой ненавидел, считая любого из них негодяем и вором. Последнее определение было, впрочем, абсолютно обоснованным. В то время Россия выплеснула на Литву все свои отбросы, самые гнусные элементы, какие только у нее были, а рассказы о подлости и варварстве этой орды Муравьева были у всех на устах.

Есть у Пилсудского то самое возвеличивание роли матери, которая в своих детях "с самых ранних лет старалась развить (…) самостоятельность мысли и пробуждала чувство личного достоинства"[14].

Январское восстание поглотило десятки тысяч жертв. Сюда следует добавить около шести тысяч приговоренных военными судами к смертной казни и около тридцати восьми тысяч сосланных в Сибирь. Моральные потери – чувство тотального поражения и одиночества в центре Европы – достигали уровня семизначной цифры. Когда наместником Царства Польского[6] в 1862 году был назначен великий князь Константин Николаевич, который в свете

---

[4] Кресы, Восточные Кресы – польское название территорий нынешних западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав Речи Посполитой; «восточная окраина» *(Прим. перев.)*

[5] Автор имеет в виду польское восстание 1863 года, или Январское восстание – шляхетское восстание на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Волыни с целью восстановления Речи Посполитой на востоке в границах 1772 года. Началось 22 января 1863 года и продолжалось до осени 1864 года, окончившись поражением повстанцев *(Прим. перев.)*

[6] Царство Польское, Королевство Польское (польск. Krolestwo Polskie), также Конгрессовая Польша или «Конгрессовка», в просторечии Конгресс (от польск. Krolestwo Kongresowe, Kongresowka) – государство, установленное постановлением Венского конгресса, объединенное реальным союзом с Российской империей в 1815–1832 г.г. в соответствии с Конституцией 1815 года, а позже до 1918 г. – составная часть Российской империи. С лета 1915 было оккупировано немецкими и австро-венгерскими войсками.До 1860-х годов в законодательстве чаще использовалось название «Царство Польское», редко – «Польша». В 1860-х годах эти названия стали заменяться словосочетаниями «губернии Царства Польского» и «губернии Привисленские». 5 марта 1870 г. повелением Александра II было предписано именовать российскую Польшу «губерниями Царства Польского», однако в ряде статей Свода законов Российской империи наименование «Царство Поль-

реформаторских устремлений царя Александра II захотел также и на польских землях вести политику либеральных уступок, до конфронтации с национальным характером его будущих подданных дело дошло очень быстро. Когда началось восстание, царь, введенный в заблуждение великим князем, заменил наместника, направив в Варшаву генерала Федора Берга, а в Вильно на должность генерал-губернатора Михаила Муравьева. Таким образом, Литва, присоединившаяся к повстанческому порыву некоторое время спустя, получила хорошую взбучку от России, разъяренной этой смутой. Потому что Муравьев, сам в молодости втянутый в заговор декабристов, закаленный в наполеоновских войнах и в подавлении ноябрьского восстания[7], в мае 1863 года оказался идеальным кандидатом на должность наместника Северо-Западного Края.

В Воспоминаниях, написанных в 1866 году, Муравьев приводит свои письма, которые он слал царю с просьбой разрешить ему применять собственные меры:

> Я заранее знаю, что моя система не понравится, но отступить от нее не могу и наперед сообщаю, ибо достаточно знаю польский народ, что уступками и слабостью дело все только ухудшить можем; спокойствие же можем вернуть в стране лишь средствами суровой справедливости и преследованием заговоров[15].

В направляемых в Петербург донесениях генерал-губернатор скрупулезно отмечал свои достижения: 177 повешены, 972 сосланы на каторгу, 345 мужчин насильно направлены в войска, 1427 сосланы в Сибирь, 1529 выселены… Плюс к этому конфискация имущества и доведение их владельцев до полной нищеты (из этого социального слоя впоследствии вышли квалифицированные рабочие – элита рабочего движения). Муравьев настолько прославился как инициатор массовых казней, сжигания целых деревень, заподозренных в содействии повстанцам, закрытия католических костелов и рьяной русификацией во всех сферах жизни, что получил прозвище «Вешатель». Его двухлетнее правление вынудило литовское дворянство пойти на многие уступки и занять позицию пассивного выжидания. Патриотизм мог культивироваться самое большее в границах дома – а снаружи, подчиняясь инстинкту самосохранения, надо было следовать политике компромисса.

И это явилось решающим моментом, – объясняет Феликс Дзержинский в письме жене. – Это предопределило тот путь, по которому я впоследствии пошел, предопределило то, что любое насилие, о котором я слышал или которое я видел – (например, Крозе[8])[16], принуждение к тому, чтобы говорить по-русски, принуждение к тому, чтобы по праздникам ходить в церковь, система шпионства и т. д. – было как бы насилием надо мной самим. И тогда я поклялся в числе многих других бороться с этим злом до последнего вздоха. И сердце мое и мозг уже были открыты для горькой доли людей и ненависти к злу[17].

На фотографиях детского периода видны тонкие черты лица холеного барчонка. По словам Вожены Кшивоблоцкой, автора Повести о Феликсе, написанной с целью формирова-

---

ское» сохранилось. С 1887 г. наиболее применяемыми становятся словосочетания «губернии Привислинского края», «Привислинские губернии» и «Привислинский край», а в январе 1897 г. Николай II отдал распоряжение, которым употребление названий «Царство Польское» и «губернии Царства Польского» было ограничено случаями крайней необходимости, хотя из Свода законов эти названия так и не были удалены.Географически Царство Польское занимало центральную часть современной Польши: Варшава, Лодзь, Калиш, Ченстохова, Люблин, Сувалки. – *Прим. перев.*

[7] Имеется в виду польское восстание 1830–1831 годов (в польской историографии – Ноябрьское восстание) – «национально-освободительное» (в польской и советской историографиях) восстание против власти Российской империи на территории Царства Польского, Литвы, частично Белоруссии и Правобережной Украины. Началось 29 ноября 1830 года и продолжалось до 21 октября 1831 года, под лозунгом восстановления независимой «исторической Речи Посполитой» в границах 1772 года *(Прим. перев.)*

[8] Крозе – костел в стиле барокко – памятное место событий 1893 года, известных как "резня в Крозе", когда царские казаки устроили кровавую бойню католиков, защищавших костел от пере-

ния соответствующих качеств у социалистической молодежи, у него был родовой перстень с печатью, который он долгие годы носил на пальце. Как это возможно? Пока он ходил в гимназию, никто в русифицированном Муравьевым Вильно не позволил бы ему носить в школе перстень, а с 1895 года, то есть с момента вступления в кружок литовской социал-демократии и первых попыток установить контакты с рабочей средой, ношение столь явного символа принадлежности к вражескому социальному классу было бы просто глупостью. Да, перстень как таковой, Феликс иметь мог, потому что его семья имела дворянский титул на протяжении многих поколений, но наверняка он не носил его на пальце.

Первым Дзержинским, упоминаемым в книгах, был Кшиштоф, представитель пинского уезда. В силу этой должности он в 1632 году поставил подпись под грамотой об избрании Владислава, сына Зигмунта Вазы. XVIII век принес уже больше информации о представителях этого рода. В 1755–1768 годах гродненским подчашим был Анджей Дзержинский. В свою очередь Анджей Ежи Дзержинский в 1770 году был гродненским квартирмейстером, а через два года он был назначен на более высокую должность подчашего[18]. В это же время (1770 год) оршанским кравчим становится Ян Дзержинский, а в 1772 году оршанским регентом – Казимир Дзержинский. Роза Люксембург любила в шутку называть Феликса

стройки его в церковь. Эти события нашли широкий отклик в Европе и привели к смягчению царской политики в отношении Католической церкви *(Прим. перев.)* «оршанским хорунжим» по аналогии с паном Кмицицем из Потопа Сенкевича. Однако происхождение этого прозвища в действительности было связано с оршанским уездом, располагавшимся на территории нынешней Белоруссии.

Родовой герб Дзержинских – Сулима. Дед Феликса Юзеф Ян Дзержинский (1788–1854) женился на Антонине Озембловской графине Радван и родовое поместье жены – Озембловo – перешло в собственность Дзержинских. Оно находилось в ошмянском уезде, в приходе Деревне – а для жителей крупных населенных пунктов, особенно Вильно, Ошмяны всегда были символом провинциальности. О шляхтянках из этого уезда говорили: «славная провинциалка». Отец Феликса Эдмунд Руфин Дзержинский родился в 1839 году. Он был одним из девяти детей Юзефа и Антонии. Родители были не в состоянии дать хорошее образование всем детям, поэтому учиться в Петербургский университет пошли только три брата: Эдмунд (математика), Томаш и Фелициан (медицина).

Получив стипендию Виленской губернии, Эдмунд Дзержинский в 1863 году окончил университет и решил стать учителем математики и физики. Но поляк не мог быть принят на работу на родине – это было запрещено законом, принятым после восстания. Он слал просьбы и петиции в различные учреждения, но в ответ получал предложения работы лишь в отдаленных уголках России. А так как он болел туберкулезом и такие города, как Архангельск или Вятка были для него смерти подобны, он выбрал Таганрог – портовый город на Азовском море. Он получил место учителя математики и физики в местной гимназии, в которой тогда учился Антон Чехов с братьями Александром и Иваном. Здесь Эдмунд Дзержинский проработал лишь несколько лет. В 1875 году из-за ухудшающегося состояния здоровья он вынужден был уйти в отставку, но отработанные годы обеспечили ему неплохую пенсию. Благодаря ей, многочисленная семья Дзержинских могла жить на достаточно приличном уровне.

Восемью годами раньше, в 1867 году, Эдмунд женился на Хелене Янушевской, хорошо образованной, знающей иностранные языки дочери профессора петербургского института железнодорожного транспорта Винцента Янушевского, который состоял в дружбе с известным инженером-мосто-строителем Станиславом Кербедз. Будущий тесть Эдмунда имел генеральский чин и соответствующее ему высокое денежное довольствие. Два брата Хелены были инженерами, специалистами в области транспорта. Йода – имение родителей Хелены

– это было 16 в лук[9] отличного чернозема, а также дворец с парком, прудами, садами и большим количеством слуг. Имение находилось в Виленском уезде, неподалеку от городка Мейшагола. Старшая сестра Хелены вышла замуж за известного в Вильно издателя Феликса Завадского, а другая сестра, Софья, за графа Станислава Пиляра фон Пильхау, владельца имения Мицкуны на реке Вилия, в котором в свое время проводил каникулы Юлиуш Словацкий. Их внук Роман Пиляр впоследствии сыграет значительную роль в ведомстве своего дяди Феликса. Так, являясь заместителем начальника отдела контрразведки ОГПУ, он будет расследовать громкое дело Бориса Савинкова, социал-революционера, писателя, террориста, врага большевиков, пытавшегося свергнуть их власть[19].

Эдмунд вошел в семью, значительно более богатую, чем его. Правда, у него было имение в Оземблове площадью 100 гектаров, но земли там были неплодородные, и после сдачи в аренду имение приносило всего 42 рубля дохода. Но зато, благодаря трудолюбию хозяев, это имение отличалось кое-чем особенным. «Это была обедневшая семья помещиков, но у них было то, с чем ничто в окрестностях Вильно не могло сравниться. Это пасека и мед. У дедушки тоже была пасека, но за медом ездили к Дзержинским»[20] – вспоминает Ядвига Жуковская, будущая жена генерала Казимира Соснковского, которая воспитывалась в расположенном неподалеку местечке Сылгудышки.

В первый год супружества Эдмунда и Хелены на свет появился сын Витольд, который, однако, прожил всего несколько месяцев. Через три года родилась первая дочь Альдона (1870), затем Ядвига (1871), Станислав (1872), Казимир (1875), Феликс (1877), Ванда (1878), Игнатий (1879) и Владислав (1881). Был еще один ребенок, но, как и первенец Витольд, он умер в младенческом возрасте. Кроме восьмерых своих детей, Дзержинские воспитывали еще двоих племянников Эдмунда: Юстина и Болеслава, которых они приютили после того, как их отец Томаш во время охоты заразился смертельной болезнью – столбняком. Эмоционально наиболее сильно к дяде и его детям был привязан Юстин – намного старше своих двоюродных братьев и сестер, он умел прекрасно о них заботиться. Это он после окончания архитектурного института в Москве спроектировал в 1881 году новый дом в Оземблове – заодно переименованном в Дзержиново (спустя годы Юстин станет главным архитектором Бердичева). Мысль о перестройке родилась, когда старый дом был затоплен во время сильного весеннего разлива Узы, притока Немана. Новая усадьба, более просторная и светлая была построена на пригорке между соснами, в красивейшем месте, на самом краю Налибокской пущи. Феликсу было тогда четыре года, поэтому в его памяти раннее детство было связано исключительно с Дзержиновым.

Дом был одноэтажный с подвальным помещением, в котором находилась кухня, – вспоминала старшая из детей Дзержинских Альдона. – Дверь из столовой вела на большое крыльцо. В южной части дома была большая оштукатуренная комната, называвшаяся «салоном». Из нее был выход на высокую веранду со множеством ступеней, с балюстрадой, всегда полное солнца и света. На дворе – хозяйственные постройки, конюшня, коровник, сарай, «сеновал», хлева и так называемая «изба», где жил арендатор. Здесь же был погреб, крытый гонтом. Рядом с избой росла столетняя раскидистая сосна с гнездом аиста. Чуть дальше за забором виднелся амбар (гумно), а дальше за воротами – лес, лес, лес… Внизу в большой, пахнущей сосновой смолой центральной комнате было светло и весело; широкая дверь вела отсюда на прекрасную застекленную веранду. Здесь мама обычно сушила грибы, фрукты и ягоды. Из этой застекленной с трех сторон веранды мы с Феликсом смотрели на окружающий нас «мир», на этот близкий и на тот таинственный и далекий за линией горизонта[21].

[9] Влука – польская мера площади 16,8 га *(Прим. перев.)*

Феликс появился на свет 11 сентября 1877 года. Мама была на восьмом месяце беременности и еще не собиралась ехать в Йоду, где родила всех своих детей под ласковым присмотром своей матери Казимиры Янушевской. Но 10 сентября под вечер случилось непредвиденное: во время работ по дому Хелена Дзержинская упала на крутой лестнице и скатилась в подвал на кухню. С сильными ушибами ей пришлось лечь в постель, ночью начались схватки. На следующий день на свет появился мальчик: худенький, он ведь был недоношенным, но здоровенький. По этому случаю он получил имя Феликс, то есть счастливый. Уже 16 сентября ксендз Цыприан Жебровский окрестил его в приходском костеле в Деревне.

Детство у него было действительно счастливое. Болезненный, худой, долгое время отставaвший по росту от своих братьев (впоследствии он их догнал: в зрелом возрасте он будет ростом 175 см) и очень похожий на свою красивую мать – дома его с особой любовью лелеяли и баловали и родители, и старшие сестры, тем более, что он принадлежал к типу послушных детей. «У меня не было проблем с Феликсом, которого я учила – вспоминает Альдона. – Он не был таким сорванцом, как старший Стас, он был мягким, я ни разу не видела его злым или ссорящимся; послушный, прилежный, чуткий и способный». И еще одна черта выделяла его среди братьев: склонность к восторженности, которая сначала привела его к ревностной религиозности, а со временем – к коммунистической идеологии. Не случайно спустя годы Лев Троцкий скажет о нем: «он абсолютно сливался с делом».

К сожалению, болезнь легких у отца становилась год от года все тяжелее, и в 1882 году, после пятнадцати лет брака, Эдмунд умирает. Он оставляет после себя приятные воспоминания. Альдона: «Наш отец был человеком необычайно мягким, с большим чувством юмора. Между родителями никогда не было ни даже самой маленькой ссоры или неурядицы. Детей была целая орава, но не было случая, чтобы кто-то из них получил телесное наказание». Соседи и местные крестьяне тоже хорошо его вспоминали. Отца похоронили в Деревне, на надгробной плите была выбита надпись: «Покой праху Праведника». У Феликса – ему тогда было пять лет – осталась только одна ассоциация с отцом: вязание из дубовых веток венков, которые потом везли на могилу Эдмунда. Хелене на момент смерти мужа было 32 года. Учитывая ее возраст и красоту, она могла бы, конечно, вновь выйти замуж, но она полностью сосредоточилась на детях и на их образовании. Она знала, что это их единственный шанс, потому что от усадьбы они не получат никакой пользы. Отец перед смертью тоже понимал это: он обеспечил сыновей, положив на их счет каждому по тысяче рублей на учебу.

Однако, жизнь продолжается. Есть мать, есть братья и сестры, есть Дзержиново. Альдона и Игнатий вспоминают:

Мы играли в лесу и на реке, а также около дома или в доме. Игрой на каждый день была «палочка-выручалочка». Играли во дворе, где был колодец-журавль. Любимой забавой Феликса было ходить на ходулях; это требовало определенной смелости и умения держать равновесие, особенно при перешагивании через такие крупные объекты, как, например, корова. На дворе проходили и другие нехитрые игры: ловко пройти по длинному забору или залезть на высокие лестницы для сушки сена. А когда раздавался голос любимой Мамы, зовущей на завтрак, обед или ужин, мы всей гурьбой наперегонки бежали домой. Здесь в прохладной, пахнущей сосновой смолой комнате вся разгоряченная ватага сорванцов, весело болтая, рассаживалась у круглого стола. Но когда перед Феликсом ставили тарелку с овсяной кашей, лицо его становилось грустным и унылым. Через много, много лет он иногда говорил, что единственное блюдо, которое он не любит – это овсяная каша.

Феликс писал Альдоне из X павильона Варшавской цитадели: «Здесь же память особенно живая – она бежит к тем, кого любит – и воскрешает давние годы. (…) Наша деревня, ее леса, луга и поля, река, кваканье лягушек и клекот аистов, и вся эта тишина, и дивная музыка в вечерних сумерках». Из Закопане 27 декабря 1906: «Я помню летние вечера, когда

мы сидели на веранде и моя голова лежала на твоих коленях и было мне так хорошо… Помню, как вечерами мы кричали, а эхо нам отвечало. Помнишь, как однажды Стас крикнул неприличное слово, а вы, застыдившись, убежали?». Из тюрьмы в Сельцах 16 июля 1901: «[Помню], как мы подшучивали над Ядвигой: она немного обижалась, когда мы в Дзержинове на ее песенку «sit u mami" (я не француз, поэтому почек корявый) отвечали из-за деревьев "ме-ме" – как овцы или бараны".

В письмах просматривается образ матери – доброй, благородной, умной, оказывающей огромное влияние на формирование психики и моральных качеств своих детей. Феликс ее иногда просто идеализировал. В письме Альдоне он пишет:

> Ведь мать формирует души своих детей, а не наоборот. (…) Я сам помню, как однажды мама, будучи чем-то очень озабоченной и имея массу хлопот, меня отшлепала. (…) Я что-то натворил, и когда получил за это от мамы в минуту ее раздражения, то давай орать во всю глотку и плакать от злости, а когда слезы кончились, я залез под этажерку с цветами и сидел там до сумерек. Отлично помню, как мама меня там нашла, крепко прижала к себе и поцеловала так горячо и сердечно, что я опять заплакал, но это были слезы тихие, добрые, слезы уже не злости, как раньше, а счастья, радости и спокойствия, так мне было хорошо… Потом мама дала мне свежую булочку и кусок сахара, и я был необычайно счастлив. Не помню, сколько мне тогда было лет, может 6–7; это было у нас в Дзержинове.

Отсутствие начальных школ вынуждало учить детей дома. Феликс Альдоне 27 декабря 1902: «Помню, как на той самой веранде мама учила меня читать. Я лежал на животе, опершись на локти, и читал по слогам»[22]. Как пишут биографы Дзержинского, в возрасте четырех лет он мог цитировать большие фрагменты из *Пана Тадеуша.* Достоверно это неизвестно, он мог быть и старше, но можно говорить со всей уверенностью, что он знал произведения Мицкевича, Словацкого, Красинского, потому что именно на их творчестве главным образом основывалось образование в польских домах. И что характерно: спустя годы, уже будучи председателем ВЧК, он продолжал культивировать в своем доме польскую культуру. Витольд Ледер, сын революционера и коммуниста Здислава Фейнштейн-Ледера, вспоминает, что в двадцатые годы, когда он с родителями жил в Москве, для отца было очень важно, чтобы сын не забывал польский язык, причем поддерживал его на хорошем, литературном уровне. К сожалению, достать польские книги в столице России было очень трудно. Но оказалось, что Дзержинский, у которого Ледер работал в Высшем Совете Народного Хозяйства, имеет неплохую польскую библиотечку, а в ней – *Трилогию* Сенкевича. Благодаря этому, молодой Витольд выучил чистый польский язык.

Дзержинские очень любили друг друга, это несомненно. Тем большей травмой стал трагический случай в 1892 году – еще одна смерть в этой семье, о которой много говорили в округе.

> Когда я стала сознательно смотреть на окружающий мир, Феликса в этих краях уже не было, – вспоминает Ядвига, жена генерала Соснковского. – Дома рассказывали о трагическом случае. У Феликса была сестра Ванда, которую он очень любил, и которая отвечала ему тем же. Она делала то, что он ей говорил. Эта девочка была любимицей всей семьи. Феликсу было тогда около 17 лет. Меня в то время еще на свете не было. Позже из десятых уст я услышала об этой трагедии. Маленькая Ванда, зная, что Феликс идет охотиться на куропаток – а ему нужно было пройти через лес – притаилась в кустах, которые обычно густо обрамляют лес. Когда брат появился, она хотела выскочить из кустов, чтобы его напугать. Видимо, она

> за что-то зацепилась, потому что это продолжалось довольно долго. Феликс подумал, что это зверь, выстрелил… был конец. Окаменевший от горя, он не знал, что делать. Сбежалась семья, мать, братья, чрезвычайно деспотичный отец. Была сцена, как из Шекспира. Все набросились на бедного Феликса, бичевали его обвинениями так, что онемелый хлопец не был в состоянии вымолвить ни слова (…). Что за горе для молодого человека[23].

Звучит убедительно – только с правдой не имеет ничего общего, кроме факта, что Ванда погибли от пули, выпущенной братом.

Обычно в усадьбах было огнестрельное оружие, потому что охотились в ближайших лесах, да и защищаться надо было в случае нападения. Оружие вешали на стену в гостиной или столовой, а слуги должны были о нем заботиться, чистить и следить за безопасностью, на стену вешать незаряженным. Когда Станислав, будучи студентом, приезжал домой, он частенько ходил на охоту со слугой, который в отсутствии хозяина иногда брал без разрешения его ружье и один ходил в лес. Скорее всего, в этот фатальный день лакей повесил га стену ружье с пулей в стволе, а Стас, двадцатилетний юнец, шутки ради и заигрывая с четырнадцатилетней Вандой, схватил ружье. Он стал гоняться за сестрой вокруг клумбы перед входом в дом, крича: «Я тебя сейчас застрелю!». Нажал на спуск и… О Феликсе будет еще много подобных легенд.

Семейная драма после смерти Ванды была настолько глубока, что память о ней решили вытеснить из сознания близких. Из семейных альбомов убрали ее фотографии, ни в одном из писем Дзержинский даже не упоминает о младшей сестре.

Со временем многочисленная ватага братьев и сестер, как это бывает в жизни, разбрелась по миру.

Сестра Альдона стала его поверенной на всю жизнь. С ней Феликс поддерживал самый тесный контакт, потому что именно она воспитала его и была ему во многих отношениях как мать. Заботилась о нем, наставляла, бранила, навещала в тюрьме и передавала передачи с едой, бельем и книгами. Сама необычайно набожная, она заботилась о душе Феликсика, как нежно называла его почти до конца жизни. В ней соединились сильная личность, шляхетская изысканность и обычная человеческая доброта. Она обладала способностью объединять около себя дальних и ближних родственников, которые по сей день вспоминают о ней с огромной теплотой. В 1892 году (то есть в то время, когда Феликс учился в гимназии) она вышла замуж за Гедымина Булгака, совладельца имения Мицкевичи, и стала жить в Вильно, затем переехала в бобруйское поместье, где ее муж был управляющим. Родила четверых детей[24]. Феликс очень любил навещать эту семью. Он вспоминает об этом в письмах Альдоне. Например, из Женевы (1902):

> Как там Тонио, Рудольфик и Хелена? Наверное им очень скучно сейчас, осенью и доставляют тебе много хлопот. Хотелось бы их увидеть, обнять, посмотреть, как они выросли, послушать их плач, смех, игры и шалости, услышать, как маленькая Манечка в кроватке, не отпуская меня, шепчет: «Не пущу, не пущу», а Тонио выбирается из кроватки, чтобы еще раз поцеловать дядю на ночь; хочу увидеть и серьезного Рудольфа. Ходить с ними за грибами, бегать с ними и чувствовать их, детей, около себя.

Племяннику Рудольфу (1903):

> А помните, как мы ходили в лес за грибами, как Манечка упала и потом я ее нес домой на руках, как вместе шалили, как вместе с Мамой и тетей Марыней ездили в лес за земляникой, как Тонио съел ягоды, а Рудольфик собирал? Я обо всех вас помню, потому что очень вас люблю[25].

Младший сын Альдоны – Антоний Ежи Булгак (Тонио, как Феликс называл его в письмах) был одним из адъютантов маршала Юзефа Пилсудского. После офицерского училища в звании подпоручика он служил в кавалерии во время польско-большевистской войны, был ранен, награжден орденом Виртути Милитари. В 1923 году женился на племяннице Пилсудского Ванде Юхневич, с которой некоторое время жил в Сулеювеке[26].

С самым старшим братом Феликса Станиславом после трагической смерти сестры Ванды произошли диаметральные перемены: он бросил учебу, стал замкнутым и нелюдимым. По возвращении из Петербурга он занимал должность высшего чиновника земского банка в Вильно. Как старший сын, он унаследовал Дзержиново. Не женился и не имел детей. В июле 1917 года в усадьбе ночевали русские солдаты, возвращавшиеся с фронта – может быть, дезертиры. Увидев, что они бросают окурки на деревянный пол, Станислав сделал им замечание, что они могут вызвать пожар. Этого хватило. Солдаты убили хозяина и разграбили усадьбу. Через несколько дней в Дзержиново приехал извещенный о трагедии Феликс, чтобы похоронить брата. «Бандиты ради грабежа убили брата Станислава. Не мучился, нож попал прямо в сердце (…) Теперь дом пуст, все в страхе разбежались»[27] – писал он в августе жене. Феликс сделал еще кое-что. Об этом из Петрограда он сообщил письмом дочери Альдоны Марии:

> Я должен тебе сообщить, что Альдона отдала Стасу на сохранение драгоценности, они были закопаны. Служанка Эмилька показала мне место и я их откопал. Шкатулка потемнела, у Глоговской[28] мы переписали, что там было. Высылаю тебе список. У себя я это оставить не мог, поэтому закрыл в несгораемом и опечатанном сейфе у Михала Винавера, Москва, Фурманный переулок,

18, кв. 14, с тем, что он может их отдать только Альдоне или, в случае несчастья, ее детям[29].

Через несколько лет, когда Феликс стал председателем ВЧК, убийцы Станислава были найдены и расстреляны.

Вторая сестра Дзержинского, Ядвига, была необычайно красивая, но при этом легкомысленная и любящая развлечения. Она хотела как можно скорее улететь из семейного гнезда, и ее быстро выдали замуж за помещика Кушлевского, который был много старше ее. Но долго она в супружеских узах не выдержала. Сбежала, оставив мужу маленького сына Ежи[30], а сама, к великому огорчению Альдоны, вела разгульную жизнь в Вильно. Родила дочь, которую также назвала Ядвигой (по одной версии отцом был князь Хенрик Гедройц, по другой – офицер грузинского происхождения) и с которой в 1915 году переехала в Москву. Там она поддерживала связь как с Феликсом, так и с другим братом Владиславом. После октябрьской революции она жила недалеко от Кремля, оставаясь с влиятельным братом в тесном контакте.

Казимир, который был на два года старше Феликса, обладал выдающимися математическими способностями, но это был тип вечного студента. Он вел развлекательный образ жизни, долго учился в технологическом институте Карлсруэ. Там же, на станции он познакомился с Луцией (Люси) Шиатти, итальянкой по происхождению. Они поженились лишь в 1918 году. Жили в Варшаве, где Казимир работал инженером в министерстве путей сообщения, а когда он вышел на пенсию, переехали в Дзержиново. Во время оккупации Казимир принимал активное участие в создании на территории Налибокской пущи польского подпольного и партизанского движения, а Луция, работавшая в немецкой комендатуре переводчицей, имела доступ к ценной информации и передавала ее членам движения сопротивления. Оба они погибли. В июне 1943 года немцы арестовали местного парнишку по подо-

зрению в сотрудничестве с партизанами. Луция за него поручилась. В августе парнишку снова поймали, уже с оружием в руках, и Луцию немедленно задержали. Казимир, скрывавшийся в то время под чужой фамилией, не захотел оставить жену в беде и сдался. Их расстреляли вместе. Они похоронены на кладбище в селе Ивенец. Дзержиново, в отместку за подпольную деятельность хозяина, немцы сожгли[31].

Игнатий, на два года младше Феликса, после окончания факультета естественных наук Московского университета работал в Варшаве сначала учителем, а затем инспектором в Министерстве религии и народного образования. Он женился на Станиславе Сила-Новицкой, у них было двое детей – Ванда и Ольгерд. После войны Игнатий переехал в Казимеж Дольны на Висле, где работал директором лицея. Умер в 1953 году – единственный из братьев, умерший в своей собственной постели.

Самый младший Владислав стал известным неврологом. Он окончил медицинский факультет Московского университета, потом работал и делал карьеру в Москве, Харькове и Екатеринославе (ныне Днепропетровск), где в 1919 году участвовал в создании университета[32]. У Владислава были способности гипнотизера. Вся семья помнит встречу в имении Вылёнги – Владислав женился на Софье Сила-Новицкой, сестре Станиславы – когда он на глазах у всех погрузил Феликса и Игнатия в гипнотический сон. В России он поддерживал тесный контакт с Феликсом, но энтузиастом революции не был, в отличие от своей дочери, тоже Софьи. Жена тоже разделяла его взгляды лишь частично. Когда брак распался, обе женщины уехали в Москву, а Владислав, получив от Феликса, как председателя ВЧК, разрешение, вернулся в 1922 году в Польшу[33]. Здесь он продолжал свою медицинскую карьеру: написал учебник по неврологии (впоследствии очень популярный в медицинских институтах) и работал ординатором в больницах Перемышля, Кракова, а с 1930 года – в Лодзи. В 1937 году его избрали членом Главного правления Польского неврологического общества. Во время войны Владислав, говорят, сотрудничал в Лодзи с АК[10]. В феврале 1942 года его арестовало гестапо во время крупной акции немцев, нацеленной против польского подполья. Владислав был расстрелян 20 марта 1942 года в Згеже вместе с сотней других поляков.

Было такое время в межвоенный период, когда многие Дзержинские (братья Казимир и Игнатий с семьями, а также дети и внуки кузена Юстина, который обосновался в Бердичеве) жили в Варшаве. Трамвай номер 25 называли "семейным трамваем", потому что все жили на его маршруте. А отпуска и каникулы проводили в Дзержинове, куда приезжали также Альдона и Владислав с семьями.

Биограф Иосифа Сталина Саймон Себаг Монтефиоре в книге *Сталин. Ранние годы деспота* проводит такое сравнение:

> Сталин подружился с Дзержинским, основателем тайной полиции, наверное, потому, что поляки и грузины отождествлялись друг с другом как гордые народы, угнетенные Россией. Оба должны были стать священнослужителями, писали стихи, оба были помешаны на лояльности и предательстве. Оба были искусными практиками тайной полицейской работы. У обоих были властные матери и бесчувственные отцы. Оба были страшными родителями; существами фанатичными и одинокими. И

[10] АК – Армия Крайова – вооружённые формирования польского подполья во время Второй мировой войны, действовавшие главным образом в пределах довоенной территории польского государства. АК была основной организацией польского Сопротивления. АК подчинялась польскому правительству в изгнании, находившемуся в Великобритании. Основной целью АК было восстановление польского государства при поддержке Великобритании и США. АК готовилась к всеобщему восстанию в момент приближения фронта или в случае разгрома вооружённых сил Германии. При этом АК также вела вооружённую подпольную борьбу с оккупантами. Отношение АК к советским войскам и партизанам было неоднозначным: от проведения совместных операций до открытых вооружённых столкновений. По данным ряда историков, АК также занималась этническими чистками украинского населения. – Прим. перев.

что поражает, принимая во внимание такое огромное сходство, они стали союзниками[34].

Является ли такого типа сравнение полностью правомерным? Из примечаний к книге вытекает, что Монтефиоре черпал информацию о Феликсе из книги Дональда Рейфилда *Сталин и его подручные.* Идя по этому следу, мы приходим к источникам, которыми пользовался Рейфилд. И тут – неприятное сопоставление с… графом Богданом Якса-Роникером.

На каком основании указанные авторы считают Эдмунда Дзержинского бесчувственным отцом? Из семейной переписки и воспоминаний явственным образом следует нечто полностью противоположное. А уж сравнение его с пьяницей сапожником Виссарионом «Бесо» Джугашвили, который избивал жену и сына, и вовсе походит на глубокое недоразумение[35].

А мать? Для Монтефиоре она – «властная мать», а для Рейфилда – «любящая». Невозможно до конца понять, в чем проявляется эта властность, о которой говорит Монтефиоре. Может, в том, что в возрасте тридцати двух лет она овдовела и была вынуждена одна заниматься воспитанием восьмерых детей? Ее сравнение с несчастной Екатериной «Кеке» Джугашвили – это очередное недоразумение. Дочь Сталина вспоминала, что когда ее отец был мальчиком, бабушка его била. Как это можно сопоставить с воспоминаниями из детства, которыми Феликс делился в письме Альдоне? Неужели «шлепки», которые запомнились ребенку лишь потому, что были единственным случаем, можно сравнить с «побоями», о которых писала Светлана Аллилуева?

Попытки сопоставить личность Сталина и личность Дзержинского, наверное, имеют под собой основание, но поиск аналогий в их детстве подобно блужданию в густом тумане. Ранние годы жизни Феликса трудно поддаются психологическому анализу, так как каждому можно было бы пожелать такого счастливого детства, прожитого в атмосфере любви и среди самых близких людей.

II. Свет пришел с востока. Революционеры

Польские земли в семидесятых и восьмидесятых годах XIX века напоминали губку, впитывающую новые идеи. В XIX веке произошли большие изменения в сознании европейцев относительно их политического и общественного статуса. С одной стороны, поляки ловили любую западную новинку, а с другой – впитывали в себя то, что шло с Востока и представляло собой своеобразную смесь российских революционноимперских тенденций и усвоенных ими, поляками, западных идей. Польское подполье, заложившее свои основы на аннексированных Россией территориях, несмотря на связи с такими же сетями на Западе, находилось, однако, под сильным влиянием подобных структур в самой России – стране, которая вскоре встала во главе подпольных движений в Европе. Этому способствовало сохранявшееся самодержавие, строй уже устаревший для европейских условий того времени. Отсюда и большое удивление маркиза Астольфа де Кюстина в *Письмах из России*, изданных в 1893 году: «Европа, говорят в Петербурге, выбирает путь, когда-то избранный Польшей. Она находит выход своей энергии в пустом либерализме, в то время как мы остаемся могучими именно потому, что мы несвободны. Мы терпеливо переносим угнетение, а других заставляем платить за наш позор»[36]. Такая идеологическая основа явилась хорошей питательной средой для зарождающегося социализма, в том числе и польского социализма. Людвик Кшивицкий потом напишет: «К сознательности мы дошли чужим умом. Свет пришел с Востока»[37].

Период деспотического правления Николая I (1825–1855) после громкого, но неудачного восстания декабристов, давал идеальную почву для социалистической утопии[38]. Первым западным утопистом, которому в первой половине XIX века удалось пробиться к сознанию русских, был Клод Анри де Сен-Симон, французский сторонник диктатуры в руках профессионалов (многие годы спустя Ленин создаст диктатуру в руках профессиональных революционеров). Чуть позже там начали изучать труды Роберта Оуэна, Пьера Жозефа Прудона и Шарля Фурье – автора идеи об обществе, живущем в фаланстерах (после 1917 года фаланстеры будут заменены колхозами). Эта идея нашла в России особенно благодатную почву: здесь существовали так называемые *общины*, то есть сельские товарищества. Их основу составляло совместное использование жителями данной деревни земли и окрестных лесов, а также совместная ответственность за них. «Вместе с общинностью возник идеал своего рода «уравнительного коммунизма», – пишет историк Борис Егоров. – Бедность ценилась больше, чем богатство, быть богатым оказывалось чем-то почти постыдным»[39].

Другой национальной чертой, которая сыграла немаловажную роль в преобразовании России XIX и XX века, была *безудерж*, то есть отсутствие каких-либо сдерживающих факторов[40].

> Она является оборотной стороной рабства – крайности порождают крайности, – приводит историческую аргументацию Борис Егоров. – Злоупотребление пьянством «внутри» сословия подданных, то есть крепостных крестьян – это только начальный этап, далее уже могли совершаться побеги, создание разбойничьих шаек, бунты Разина и Пугачева. И в этой безудержности, лишенной основ, домашнего очага, развивались, конечно, не творческие элементы, но деструктивные. Жги усадьбы, вешай и расстреливай всех несогласных, круши до фундамента старый мир.

Поэт Николай Огарев, ближайший соратник Александра Герцена, излагает такую вот стихотворную декларацию российских сторонников утопии:

Ученики Фурье и Сен-Симона,
Мы присягали, что всю жизнь посвятим
Народу и его освобождению,
За основу возьмем социализм.

Герцен, в свою очередь, идет еще дальше: «Может, Россия сдохнет, как вампир, но может и перейти к наиболее неограниченному коммунизму с той же легкостью, с какой бросилась с Петром I в европейскость"[41]. А Константин Леонтьев – ультраконсервативный философ, прославившийся своей идеей «замораживания России», чтобы уберечь ее от влияния Запада – вещал зловеще, что вся Европа неуклонно идет к социализму, который, по правде сказать, является новым феодализмом, еще более деспотичным, чем предыдущий. Он назвал его новым рабством. А в России «земля более рыхлая, строительство более легкое», поэтому новые идеи приживутся здесь значительно быстрее.

После поражения в крымской войне ново помазанный царь Александр II решается на проведение реформ, важнейшей из которых была ликвидация крепостного права[42]. По новым законам крестьяне могли приобретать землю в собственное владение за часть ее номинальной стоимости с возможностью рассрочки на несколько лет. К сожалению, на практике все выглядело значительно хуже. Не был принят во внимание тот факт, что крестьянин, обремененный налогами и долгом за землю, не будет в состоянии всего этого выплачивать. Это привело к крестьянским восстаниям, и власти применили репрессии. Такая обстановка, с одной стороны – разрядки напряжения, потому что проведение реформ было все-таки проявлением послаблений со стороны царя, а с другой – неспособности осуществления этих реформ, вызвала значительный рост заинтересованности новыми идеями[43].

Одним из ведущих революционных деятелей был Михаил Бакунин. Увлеченный Гегелем, он провозглашает концепцию революционного отрицания и заявляет: «Страсть к разрушению является одновременно страстью к созиданию»[44], а обязанностью социальной революции является уничтожение государства на следующий день после своей победы, потому что в противном случае эта победа окажется бесполезной (ликвидация института государства в будущем станет мечтой Ленина). При этом Бакунин требовал полной свободы для угнетенных империализмом народов, особенно выделяя польский народ, за который он страстно болел во всех его порывах к независимости. Однако, среди русских, даже в кругах интеллигенции, его взгляды по поводу предоставления свободы угнетенным народам не встречали поддержки. Потому что здесь российский империализм шел в паре с революционным движением[45].

Бакунин в своем желании разрушить все старое, не предлагая взамен ясно очерченного образа нового, достиг почти максимального уровня радикализма. Из-за своей антипатии к государству он вступил в конфликт со сторонниками марксизма, но, спустя годы, эта антипатии окажется прямо-таки пророческой. Подтверждением тому служат его высказывания на страницах брюссельской *La Libert0* о том, что после революции государство будет сильно централизованным: в нем будет установлен казарменный режим, при котором пролетарии будут низведены до массы в мундирах, живущей в такт барабанного боя; в результате в стране воцарится рабство, а во внешней политике будет превалировать перманентная война.

Дальше Бакунина в радикализме пошел только Сергей Нечаев, заявив: «мы берем на себя исключительно разрушение существующего общественного строя; созидание – это не наше дело»[46]. В своем стремлении к разрушению он достиг апогея, когда вознамерился разрушить отношения внутри самих революционных кружков, сея среди своих товарищей сумбур и разброд, взаимную подозрительность и, наконец, подговаривая их совершить преступ-

ление в отношении своих же друзей[47]. В своем известном *Катехизисе революционера* он прямо указывает на выгоду как на единственный ощутимый результат кружковой деятельности. Для революционера морально все, что ведет к триумфу революции, и неморально и преступно все то, что этому триумфу препятствует. Единственной положительной эмоцией является ненависть, так как она заставляет человека совершать геройские поступки. Поэтому царское угнетение, репрессии, ссылки, тюрьмы и смертная казнь – все это выполняет исключительно позитивную функцию! Нечаев в своем безумии отлично прочувствовал самую темную сторону человеческой природы: ничто так не объединяет людей, как совместно совершенное преступление.

В семидесятые годы подают голос члены кружка «чайковцев». В историю войдет один из них: Петр Кропоткин, продолжатель дела Бакунина, в силу происхождения прозванный князем-анархистом. В программе «чайковцев» 1873 года Кропоткин заявляет: «в будущем желанном строе мы приходим к отрицанию любой личной собственности, любой собственности товарищеской, паевой или акционерной, артельной и т. п.»[48]. Он предлагает также простой способ решения проблем просвещения, что само по себе поражает и удивляет, так как Кропоткин сам был ученым, достаточно известным географом. Его предложения по реформе образования согласуются с подходом анархистов ко многим областям жизни:

> Встает вопрос, что более полезно для общины: чтобы школьный учитель занимался только обучением детей в течение 7–8 часов (…) или чтобы одновременно он ежедневно или поочередно выполнял также и другие обязанности, например, занимался тяжелым физическим трудом, колол дрова для школы, в случае необходимости мыл и натирал полы[49].

Идею Кропоткина о равенстве физического и умственного труда развил Николай Морозов, «чайковец», впоследствии член Народной воли. В *Повести моей жизни* он опишет разговор двух революционеров:

> В будущем, – говорит Жуковский, – люди будут заниматься прежде всего физической работой и только после ее выполнения – умственным трудом (…) Когда начнется социальная революция, я пойду вместе с толпой (…) и буду требовать, чтобы задерживали всех и заставляли показывать ладони: – Есть мозоли? – Тогда иди с миром. – Нет? – На смерть![50]

Русские народники быстро установили контакты с западными социалистами во главе с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Маркс и Энгельс горячо поддерживали народничество, но и теоретически полемизировали с его представителями, тем более, что при написании *Капитала* Маркс принимал во внимание исключительно условия Западной Европы. По мнению обоих социалистов, Россия, чтобы прийти к социализму, должна сначала пройти капиталистическую стадию. Русские с этим спорили:

> Ситуация в нашей стране исключительная, она не имеет ничего общего с ситуацией в какой-либо стране Западной Европы, – убеждал Энгельса в 1874 году Петр Ткачев, товарищ Нечаева. – Способы борьбы, применяемые на Западе, в самом лучшем случае для нас совершенно непригодны. Нам нужна совершенно особая революционная программа, которая должна отличаться от немецкой в такой же степени, в какой социально-политические условия в Германии отличаются от отношений в России. (…) Вы не в состоянии понять российскую точку зрения, а, несмотря на это, Вы осмеливаетесь выносить приговоры и давать нам советы. Энгельс на это отвечает: Человек, который может сказать, что революцию в какой-либо стране можно совершить легче, потому что в этой стране на самом деле нет

> пролетариата, но также нет и буржуазии, тем самым лишь доказывает, что ему нужно еще учиться abc социализма.

В письме Николаю Данельсон, переводчику *Капитала* на русский язык, Энгельс писал:

> История – это самая жестокая из всеех богинь, она ведет свою колесницу через горы трупов не только во время войны, но и в период «мирного» экономического развития. А люди, к сожалению, так глупы, что никогда не могут отважиться поддержать действительный прогресс, если только они не принуждены к этому страданиями, которые не находятся ни в какой пропорции к достигнутой цели[51]

– что в России было воспринято как поддержка террора. И несмотря на то, что терроризм для Маркса был «продуктом секты, ее корней, духа, иллюзий, безумия»[52], именно Россия оказалась эпицентром терроризма XIX века. Чтобы убивать, достаточно было доктрины и идеологии – а этого у русских было в избытке.

Самое время претворить теорию в жизнь. Люди, стремящиеся подстегнуть историю, делают ставку на конкретные вещи. Главной целью народников из организации Земля и воля (1876–1879) и ее преемницы Народной воли (1879–1887) становятся покушения:

1878 год – Вера Засулич стреляет в петербургского губернатора Федора Трепова (неудачно); Григорий Попко убивает в Киеве жандармского офицера барона Гекинга; Сергей Кравчинский несколькими ударами кинжала убивает в центре Петербурга шефа жандармов Николая Мезенцева. Тот же Кравчинский тремя годами ранее, выступая как энтузиаст-теоретик, заявляет, что социализм – это высшая форма всеобщего, общечеловеческого счастья, которое приглашает всех на чудесный пир жизни.

1879 год – Григорий Гольденберг убивает в Харькове губернатора князя Кропоткина; Лев Мирский стреляет в Петербурге в генерала Александра фон-Дрентельна (неудачно); Александр Соловьев стреляет в Петербурге в царя Александра II (неудачно). Вскоре после этого народовольцы решают взорвать поезд царя, возвращающегося в столицу после отдыха в Крыму, подложив в трех местах под рельсы динамит. Однако через Одессу царь не поехал, под Харьковом не успели подсоединить провода, а вблизи Курского вокзала в Москве взорвали другой поезд, в котором находились сопровождавшие царя слуги.

1880 год – столяр Степан Халтурин, член Народной воли, устраивается на работу в Зимний дворец. Он живет в подвале, над которым располагаются помещения охраны, а над ними – царская столовая. 5 февраля в обед он поджигает запальный шнур, прикрепленный к ящику с динамитом, и убегает. В результате взрыва убито и ранено пятьдесят солдат охраны, а царь, находящийся этажом выше, остается целым и невредимым. Ипполит Млодецкий стреляет в графа Михаила Лорис-Меликова, председателя комиссии по борьбе с террористами (безуспешно). Летом неудачная акция под Каменным мостом в Петербурге (террористы опоздали к проезду царского экипажа).

1881 год – седьмое покушение на царя, на сей раз удавшееся: в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы погибает Александр II и террорист поляк Игнатий Гриневецкий. Но это покушение вызвало лишь увеличение насилия, так как преемник царя Александр III оказался сатрапом, в сравнении с которым его предшественник казался воплощением доброты и благосклонности. Он создал небезызвестную Охранку, которая с этих пор неустанно ходит за заговорщиками по пятам.

1882 год – Николай Желваков убивает в Одессе прокурора Стрельникова.

1883 год – террористы Василий Конашевич и Николай Стародворский в петербургской квартире предателя Сергея Дегаева убивают известного полицейского сыщика Георгия Судейкина.

1886 год – осенью создается террористическая фракция Народной воли. Программа, разработанная Александром Ульяновым, братом Ленина, была напечатана на квартире Бронислава Пилсудского, брата Юзефа Пилсудского. Чтобы заставить царизм пойти на уступки, фракция провозглашает программу “систематического террора”, то есть серии покушений, совершаемых одно за другим.

1887 год – в Петербурге, непосредственно перед запланированным покушением на Александра III, арестована группа Ульянова. Их главный идеолог Александр Ульянов, образцовый ученик симбирской гимназии (директором которой был отец Александра Керенского), а затем один из самых способных студентов зоологического факультета Петербургского университета – это фигура настолько мрачная, насколько и выдающаяся. Сын Ильи Ульянова, дворянина, высокого ранга чиновника в сфере школьного образования. В семье Саша, которого отец считал меланхоликом – самый главный, он центр внимания и предмет гордости всей семьи. Младший Володя, которого отец считал холериком, восхищается братом, завидует ему и во всем следует за ним, “отчаянно пытаясь уловить признаки внимания и одобрения”[53]. Вместе с четырьмя главными заговорщиками Саша казнен через повешение 8 мая 1887 года. Ему было только двадцать один год.

А если бы он остался в живых? Изменился бы ход истории? Может, как авторитетная и сильная личность он встал бы во главе большевиков? Или эсеров, которые переняли идеи народовольцев? Лидерами двух социалистических партий стали бы два брата. Революция пошла бы по пути, по которому она должна идти – это несомненно, ибо такова природа революции. Может, в этом случае получилась бы в меру здравая коалиция? Может, Сталин не пришел бы так быстро к власти? А может не пришел бы вовсе? Наконец, захотел бы Саша претворять в жизнь утопическую концепцию брата? Или последовал бы за другим известным эсером Борисом Савинковым, который из террориста превратился в демократа? А, может, Александр Ульянов пошел бы по пути людей, создававших первое в России демократическое правительство: февральское правительство князя Георгия Львова и Александра Керенского – такое развитие событий вполне вероятно.

III. Как густав стал Конрадом. Вильно

Юзеф Пилсудский назовет Вильно «милым городом». Дзержинский тоже будет хорошо о нем вспоминать, хотя и немногословно. «Пиши мне на открытках с видами Вильно[11]. Печатные надписи совсем не мешают даже если бы они были на литовском языке, а Вильно люблю – столько воспоминаний"[54], – напишет он сестре Альдоне в 1915 году из орловской тюрьмы. Именно в Вильно с молодым Феликсом произойдет перемена подобная той, которую пережил Густав из поэмы Мицкевича[12]. Несостоявшийся священник превратился в радикал-интернационалиста.

Он попал в Вильно десятилетним мальчиком. Все поколения Дзержинских следовали принципу, что если нет богатства, то надо по крайней мере иметь голову на плечах и образование, подтвержденное документом. Хелена и Эдмунд Дзержинские обеспечили дочерям добросовестное обучение дома, а для сыновей копили деньги на учебу в гимназии и получение диплома о высшем образовании. Итак, в сентябре 1887 года овдовевшая пани Хелена приезжает в город с тремя старшими сыновьями: пятнадцатилетним Станиславом, двенадцатилетним Казимиром и десятилетним Феликсом. Им предстоит начать учебу в гимназии, в то время как девочки и младшие сыновья остаются в Дзержинове под присмотром семнадцатилетней Альдоны. Этот год имеет символическое значение с перспективы будущей революционной деятельности Феликса: на территориях Польши, находившихся под властью России, зарождается рабочее движение, в нескольких крупных городах проходят забастовки. В этом же году разгромлена группа Ульянова. В ее деятельности Вильно играет немаловажную роль[55].

Феликс с братьями поселяется в пансионе панны Буйко на улице Виленской. Ему предстоит учиться в I Виленской гимназии, находящейся в стенах бывшего Виленского университета, закрытого после ноябрьского восстания. Место расположения школы и ее история вызывают наилучшие ассоциации. С точки же зрения образовательной программы – наихудшие. В 1866 году министром просвещения России стал консервативный граф Дмитрий Толстой, который, чтобы остудить радикальный запал учеников, расширил преподавание в классических гимназиях[56] греческого и латинского языков (до 40 процентов) за счет других предметов, а естественные науки убрал вовсе. Но реформатор Толстой не учел одного: что история Греции и Рима (а молодежь учила эти языки главным образом по древним текстам) несет в себе огромный политический потенциал. Народовольцы неоднократно ссылались на афинскую демократию и на римский республиканизм. А Ленину, который учеником обожал классические языки, будущий политический путь укажет Юлий Цезарь.

Для польских учеников значительно худшей каторгой, чем изучение латинского и греческого, была последовательная и радикальная русификация, тем более, что с момента прихода в стены школы идеи, вынесенные из дома, вступали в болезненную конфронтацию с идеей официальной, правительственной. Юзеф Пилсудский, окончивший в 1885 году ту же Виленскую гимназию, в которую позже поступил Дзержинский[57], говорил, что школа в основном определила его идеологический выбор:

> Для меня гимназический период был своего рода каторгой. (…) меня угнетала гимназическая атмосфера, возмущала несправедливость и политика педагогов, томили и навевали скуку преподаваемые дисциплины. Долго пришлось бы рассказывать о постоянных унизительных придирках

[11] До 1918 г. город назывался Вильна, в 1919–1939 – Вильно, с 1940 г. – Вильнюс. – *Прим. перев.*

[12] Густав и Конрад – персонажи драматической поэмы А.Мицкевича «Дзяды». – *Прим. перев.*

> со стороны учителей, о том, как позорили и бесчестили все, что я привык уважать и любить[58].

Формированию враждебного отношения к навязанной системе способствовала и сама атмосфера в гимназии, размещавшейся в стенах бывшего университета. Ученики знали, что здесь учились Адам Мицкевич, Юлиуш Словацкий, Томаш Зан и Йоахим Лелевель, что отсюда вышли сторонники Анджея Товянского[13]. Их последователи начали организовывать тайные общества, в которые новых членов принимали только после принесения присяги – лучше всего в историческом, овеянном легендой месте. Кружки были в большей или меньшей степени радикальными, с религиозной, политической или только самообразовательной направленностью, с акцентом на привитие любви ко всему польскому. Но появилось и совсем новое течение. Так об этом вспоминает Людвик Чарковский, выпускник Виленской гимназии:

С 1873 года начали прорастать демократические и космополитические движения. Стали создаваться неклерикальные, антиклерикальные кружки, где тон задавали слушательницы петербургских высших курсов для женщин. Все польское здесь находилось на заднем плане, вперед выдвигались: "прогресс", "человечество"; девушки, может, и были, но чаще притворялись, что они очень "красные" по своим взглядам, да и внешне их можно было узнать по коротко остриженным волосам (…), неопрятной одежде, дымящимся папиросам, по свободному общению с молодыми людьми мужского пола, по пренебрежительному отношению к старшим. (…) Интеллигенты называли их нигилистками, а людская молва переиначила в "нагалистки". (…) Дурной пример показывали эти особы – немногочисленные, но очень шумные. Жандармерия держала их в поле зрения и беспокоила постоянными обысками[59].

Ясно, что речь идет о прототипе феминисток.

Вацлав Сольский, социал-демократ, утверждал, что в кружки не входили только тупицы и отличники. «В других, свободных странах политические взгляды формируются в более зрелом возрасте или, зачастую, вообще не формируются. В Польше же в мои школьные времена молодежь в возрасте 15–17 лет уже в большинстве своем принадлежала к нелегальным школьным кружкам, которые формировали и укрепляли эти взгляды»[60]. Сольский приводит и мнение Януша Корчака о том, что период молодости делится на три этапа: романтический, патриотический и философский. Третий этап определяет, по какому мировоззренческому пути пойдет молодой человек.

Как и всем Дзержинским, Феликсу хорошо давались точные науки, и уже в возрасте четырнадцати лет он начинает заниматься репетиторством. Но у него серьезные проблемы с русским языком, и поэтому ему пришлось остаться на второй год[61]. Кроме того наступает возраст, когда начинают играть гормоны. Сестра Ядвига вспоминает, что в гимназические годы, когда Феликс собирался поступать в семинарию, ксёндз Ясиньски не советовал ему этого делать, так как «он был слишком веселый и обольстительный, бегал за гимназистками. А те влюблялись в него по уши»[62]. Они пересылали ему любовные записки, пряча их в галошах ничего не подозревающего ксендза-учителя закона божьего, который преподавал и в мужской и в женской гимназии. Феликс отвечал им тем же способом до тех пор, пока девочки не перессорились между собой на почве ревности и дело не раскрылось.

---

[13] Томаш Зан (1796–1855) – поэт и член общества филоматов, друг Адама Мицкевича и Яна Чечота. Сыграл значительную роль в развитии нового литературного направления – так называемого революционного романтизма.Йоахим Лелевель (1786–1861) – польский историк, общественный и политический деятель; профессор Виленского университета.Анджей Товянский (1799–1878) – польский религиозный философ-мистик, визионер, пророк, мессианист. – *Прим. перев.*

В письме жене Софии, написанном в 1914 году из X павильона Варшавской цитадели, в котором он объясняет причины своего первого идеологического выбора, Дзержинский употребляет очень специфическое выражение: «Но идти мне пришлось ощупью»[63]. С детских лет он был очень религиозным мальчиком, в какое-то время даже хотел стать священником. Фраза из письма жене оправдывает участие в первом кружке, само название которого – «Сердце Иисусово» – указывает на суть первичного выбора. Это был кружок, целью которого было изучение польской литературы и истории; руководили им гимназисты Ромуальд Малецкий и Юзеф Баранович. Члены «Сердца Иисусова» приносили присягу на горе Гедимина, в точном соответствии с обычаем присягать в каком-то историческом месте. Их идеи ясны: борьба с царизмом во имя независимости и Бога – то есть стопроцентный романтизм Густава-Конрада и вера отца Петра. Дзержинский еще остается достойным сыном польского мессианства.

Руководителем кружка, оказывавшим, по-видимому, огромное влияние на формирование взглядов своих товарищей, был Ромуальд Малецкий. Вот как его характеризует Альфонс Моравский, лидер литовской социал-демократии:

В образовательных кружках учащейся молодежи он особенно выделялся своими способностями, своей начитанностью, красноречием, влиянием, и он занял среди своих друзей одно из первых мест. (…) Уже в 1894 году он стал председателем широкой католической организации виленской учащейся молодежи «Сердце Иисусово» и пользовался там исключительным влиянием[64].

Но вскоре произошел перелом – в 1894–1895 годах Малецкий стал симпатизировать социализму и тянуть за собой друзей из кружка. Решение Малецкого соединить иисусовцев с социалистами означало поворот в мировоззрении на сто восемьдесят градусов. Дзержинский, видимо, участвовал в этом процессе. В 1922 году он расскажет литовскому революционеру Винцасу Мицкявичюс-Капсукасу: «Когда я был в 6 классе гимназии, произошел перелом – в 1894 году. Тогда я целый год носился с тем, что Бога нет, и всем это горячо доказывал»[65].

Как могло случиться, что крепко верующий мальчик, который всего год – два назад лежал крестом в костеле и заявлял, что если Бога нет, то он пустит себе пулю в лоб – вдруг неожиданно отрекается от самой большой своей ценности? Конечно, здесь сыграла роль и юношеская запальчивость семнадцатилетнего молодого человека, и дух противоречия, и убежденность в том, что в философский период (по классификации Корчака) следует полностью вычеркнуть из биографии все связанное с предыдущими этапами детского романтизма и патриотизма. А может мысль о том, что старые польские методы борьбы за независимость – с саблей в руке и гербом на груди – это пережиток, ведущий к поражению. С точки зрения психологии внезапные изменения не являются чем-то нетипичным для периода полового созревания. Многие проходят этот этап, с тем, что для многих он является переходным; для Феликса Дзержинского он оказался преддверием ада. Можно себе представить реакцию чрезвычайно религиозной матери и сестры, а также других близких и дальних родственников. Если он всем горячо доказывал, что Бога нет, то, конечно, в ответ наталкивался на неприязнь, жалость, обиду, может, иронию. Для вспыльчивой и склонной к экзальтации натуры это была идеальная почва, чтобы утвердиться в собственной правоте. Вдобавок Феликс искал авторитет, а харизматический Ромуальд Малецкий давал ему и идею, и дружбу, подкрепленную атмосферой конспирации.

Это происходит в то время, когда кружок «Сердце Иисусово» под руководством Малецкого начинает поворачиваться в сторону социализма, чтобы, в конце концов, окончательно объединиться с другими социалистическими кружками и группами. Вместе они создают общую организацию под названием Литовская социал-демократия (ЛСД), которая в мае

1896 года была переименована в Литовскую социал-демократическую партию (ЛСДП)[66]. Их социализм отличается от идей, провозглашенных Польской социалистической партией (ППС), прежде всего отношением к борьбе за независимость. В программе ЛСДП вместо поляка выступает рабочий, для которого классовое освобождение важнее освобождения национального. Позже Дзержинский рассказывал, что в то время один из руководителей группы, Альфонс Моравский «Заяц» (еще один авторитет Феликса), дал ему прочитать *Эрфуртскую программу*. Этот документ, принятый германскими социал-демократами несколькими годами раньше, делал упор на обобществление средств производства после естественной смерти капитализма, на введение восьмичасового рабочего дня и на необходимость улучшения условий труда рабочих как нового, очень важного социального класса. Это довольно знаменательно с точки зрения той роли, которую спустя годы будет играть Дзержинский в большевистской России: свою деятельность как социалист он начинает с изучения произведений Августа Бебеля и Карла Каутского, которые постулировали осуществление политических акций легальным путем и были противниками провозглашения революции[67].

Превращение молодого Дзержинского из Густава в Конрада было почти клакссическим, как по учебнику, примером трансформации. Остановившись на этапе члена католико-патриотического кружка «Сердце Иисусово», он мог бы стать священником. Дойдя под влиянием Малецкого до этапа социал-патриотизма – мог бы стать деятелем ППС. Но он дошел до третьего этапа и сделал окончательный выбор: пошел по пути интернационализма под влиянием прежде всего Моравского, а позже варшавских эсдеков, с которыми он знакомится на рубеже 1895 и 1896 годов. Феликс оказался в окружении именно этих, а не иных людей, он разделял их убеждения, и он пошел по этому пути с миссионерским рвением и запалом, которые были индивидуальной чертой его личности. При этом следует помнить, что – как пишет Людвик Кшивицкий – «социализм был в то время религией не только в Польше или в России, но и в Германии»[68]. Интернационализм, как это ни парадоксально, включал в себя также христианский принцип любви к человеку.

В период изменений, протекавших внутри Феликса, нечто очень важное происходит и вокруг него: у его матери серьезные проблемы со здоровьем[69]. Обычно религиозный человек перед лицом приближающейся трагедии еще больше углубляет свою веру. Человек же отошедший от веры, может сомневаться, не является ли смертельная болезнь самого близкого человека Божьей карой за отступничество. Но есть и третья возможность: гнев на Бога или полное вытеснение Его из своего сознания за то, что Он такой безжалостный.

Рождество Христово в 1894 году Феликс проводит с матерью у бабушки в Йоде. Хелена уже испытывает сильные головные боли и головокружение, а вскоре, в более глубокой фазе болезни начинаются приступы безумия и религиозные видения. Феликс пишет Альдоне (1895 год): «Мы в неуверенности, что решит консилиум». Есть подозрение, что у Хелены опухоль мозга. Решено перевезти мать под Варшаву, в известную неврологическую клинику в Творках. Дзержинский едет туда в сентябре и 3 октября сообщает старшей сестре:

> Я оставил бедную мамочку в Варшаве; вскоре после меня (…) Стас покинул Варшаву. Он говорит (…), что Мама примерно через месяц, во всяком случае до Рождества выздоровеет и на Р[ождество] Х[ристово] соберемся все вместе, чтобы разломить с ней облатку. Ах, какой это будет радостный момент. Мы забудем о всех пережитых невзгодах, и она будет с нами, еще больше любимая, еще больше уважаемая[70].

Болезнь матери оторвала его от социалистической деятельности, по крайней мере, на какой-то момент. Это чувствуется по письмам, отчаянным по тону. Так, в октябре 1895 года

он пишет Альдоне и ее мужу Гедымину: «Да, если бы не Мама и не любовь к Ней, то человек формально не видел бы удовольствия, да что там, даже потребности в жизни. Как бы мне хотелось, чтобы меня никто не любил, чтобы утрата меня ни для кого не была бы болезненной, тогда я мог бы полностью собой распоряжаться…»[71]. Узнав о том, что нет никаких шансов на выздоровление матери, он пишет Альдоне: «…горькая действительность светит теперь в глаза»[72].

Хелена Дзержинская умерла 14 января 1896 года. Ей было 46 лет. Ее похоронили в Вильно на Бернардинском кладбище. На надгробной плите написано: «Упокой, Господи, душу лучшей из матерей». Для Феликса мать осталась объектом поклонения, образцом того, что может быть наилучшего в мире. Когда она умирала, ему было девятнадцать лет. Ее смерть оставила в его душе чувство пустоты. «Смерть – это избавительница, – напишет он Альдоне, – чуть раньше или чуть позже, все равно, потому что в самой жизни нет ни малейшего смысла»[73]. И уже никогда больше он не изменил своего подхода к жизни: не признавал ее Божьим даром, а значит и не стоило бояться смерти. Одновременно надо было оставить после себя что-то для человечества – отсюда его отчаянные поступки в будущем и абсолютное посвящение себя общему делу. Своей возлюбленной Сабине Фейнштейн он даже скажет, что «человек, который чувствует, что больше ничего в жизни он не сможет отдать из себя – у него есть не только право, но он должен это сделать»[74]. Совершить самоубийство.

Без сомнения, смерть матери – это один из элементов, которые составляли фундамент его убеждений – но не единственный и не важнейший[75]. Чтобы понять, каким образом несостоявшийся священник превратился в красного палача, следует обратиться к мастеру зла Федору Достоевскому. Известный нам по его последнему роману Алеша Карамазов – это юноша с чистой душой и невинным сердцем, верный ученик старца Зосимы. Он верит в возрождение мира через любовь и хочет стать монахом. Так складывалась судьба Алеши в 1880 году. Но уже в январе 1881 года Достоевский скажет своему издателю: «Вы думаете, что в моем последнем романе *Братья Карамазовы* было много пророческого? Подождите продолжения. В нем Алеша убежит из монастыря и станет нигилистом. И мой чистый Алеша убьет царя»[76]. Вторую часть романа Достоевский написать не успел, но он знал, что говорит. В свое время он был революционером и отлично знал это русское безумие, нараставшее из десятилетия в десятилетие, из года в год. И именно оно окончательно превратит польского романтика в председателя кровавого учреждения – который отрекся от Бога, но не от Христа, о чем еще пойдет речь.

Незадолго перед смертью матери Феликса приютила ее сестра София, баронесса Пиляр фон Пильхау, проживавшая тогда в Вильно на улице Поплавской. Юноша доставлял тетке серьезные проблемы: она получила в наследство от сестры беспокойного племянника – конспиратора, за которым по пятам ходили шпики, да который к тому же все больше пропускал школу.

Весной 1896 года Дзержинский окончательно бросает гимназию и в июне съезжает от тетки. Он бросил школу почти сразу после смерти матери, которая, без сомнения, не позволила бы ему это сделать. Феликс обосновывал свое решение тем, «что вера должна повлечь за собой поступки и что следует быть ближе к массам и самому учиться вместе с ними»[77]. Он говорил Винцасу Мицкявичюс-Капсукасу: «Когда приближался экзамен на аттестат зрелости, я бросил гимназию, мотивируя это тем, что развиваться можно и находясь среди рабочих, а университет только отвлекает от идейной работы и создает карьеристов»[78]. Такие же тезисы провозглашали и позитивисты[79].

Сохранилось заявление директора гимназии об уходе Феликса из школы, датированное 1897 годом:

> Дзержинский, еще будучи в гимназии, обратил на себя внимание руководства школы тем, что всегда был недоволен нынешним положением. Иногда он это высказывал, правда, в такой форме, которая не давала оснований отчислить его из школы. Несмотря на это, руководство гимназии, заметив у него такие настроения, не взяло на себя ответственность выдать ему аттестат зрелости, поэтому ему пришлось покинуть гимназию. Два его старших брата также политически неблагонадежны[80].

Тетка Пиляр направила дирекции школы письмо, в котором просила выдать документы Феликса, что и было сделано. Оценки у него были скверные: двойка по русскому языку, удовлетворительно по другим предметам и только одна четверка – по религии, и у него оставался шанс сдать экзамены в другой школе, а потом поступать в университет.

С этого момента начинается новый период в жизни Феликса Дзержинского – этап революционера, все больше отдаляющегося от семьи. «Умер Густав – родился Конрад»[81], который быстро узнает вкус тюрьмы, ссылки, кнута и сибирского хлеба. Продолжение истории он будет писать уже не чернилами, а кровью.

IV. Юноша из огня и серы. Агитатор

> Мы собрались в восемь вечера, чтобы расклеивать на улицах города прокламации, – вспоминает Анджей Гульбинович, слесарь и революционный поэт. – Я купил несколько пачек махорки, раздал каждому, чтобы в случае, если поймает полиция, сыпануть в глаза и удирать. На каждого пришлось по 50 экземпляров и каждый должен был расклеить их до 4 часов утра в определенном районе. «Яцек» тоже взял 50 штук и клей. Но я забыл ему рассказать, как проводить эту процедуру расклеивания (берется две прокламации, намазываются клеем и намазанными сторонами прикладываются друг к другу; при расклеивании достаешь их осторожно из-за пояса, разъединяешь и наклеиваешь одну и неподалеку – другую). «Яцек» добросовестно расклеил прокламации в указанном ему районе, но весь живот и руки измазал клеем. «Ну, – говорю, – если бы ты попался, то бы не выкрутился». «Э, ерунда, у меня была твоя махорка и мои длинные ноги, в случае необходимости они бы меня спасли»[82].

«Яцек» или «Якуб» – это псевдонимы Феликса Дзержинского, после этой акции – уже партийного агитатора. Приближался день 1 мая 1896 года. На собрание Литовской социал-демократии в квартире Анджея Домашевича собралось около пятнадцати человек, в том числе три представителя интеллигенции, три врача, четверо рабочих и четыре юноши (ученики гимназии). Было принято решение отметить пролетарский праздник. Первое задание: по всему Вильно надо распространить партийные прокламации. Так началась партийная работа Дзержинского. Позже он вспоминал: «Я учился марксизму и вел кружки среди подмастерьев в мастерских и на фабриках. Там в 1895 году меня и назвали «Яцеком»[83].

Решение о создании на Виленщине новой партии на основе программы Розы Люксембург и созданной ею Социал-демократической партии Царства Польского (СДКП)[84], было принято в 1895 году. Роза Люксембург— необычайно интеллектуальная и сильная личность, за что даже ближайшие соратники называли ее «мегерой» – вела свою деятельность прежде всего в Берлине, где быстро развивалось социал-демократическое движение. Попытки объединить социализм с движением за независимость – к чему стремилась ППС – Люксембург считала тупиком для польских рабочих. По ее мнению, они жили в трех разных державах, а значит в трех разных экономических и политических системах, руководствуясь особыми интересами. Поэтому образование польского государства она считала скорее помехой для рабочего движения, так как, в ее представлении, это будет буржуазное государство. «Разве возрождение Польши избавит рабочих от нищеты?»[85] – спрашивала она в партийных листовках.

Инициатором создания Литовской социал-демократической партии был Анджей Домашевич, у которого были личные контакты с Розой Люксембург (хоть он и не любил ее за деспотичный характер). Перед новой партией вставали те же проблемы, о которых говорила Люксембург. На организационном собрании, после которого Дзержинский ночью расклеивал прокламации, тоже завязалась острая дискуссия над предложением некоторых участников, которые хотели включить в программу партии тезис о борьбе за всероссийскую конституцию с автономией для Литвы. Это было равнозначно непризнанию независимой Речи Посполитой и предложение не прошло[86]. На собрании присутствовал Стасис Матулаитис, врач и публицист, и, по его словам, Феликс, одетый в форму гимназиста, показался ему тогда «скромным и несмелым». И правда, на этом собрании Феликс больше слушал, чем говорил.

Ему было всего 18 лет, а Домашевич стал еще одной фигурой, которая сыграла в его жизни существенную роль.

В ту весну 1896 года по случаю первомайского праздника в Каролинском лесу прошло специальное партийное собрание рабочих агитаторов с участием представителей интеллигенции. День 1 мая приходился на пятницу, рабочие опасались уходить с работы, поэтому демонстрации и празднование перенесли на воскресенье 3 мая. Вспоминает Анджей Гульбинович, друг Феликса:

> Было нас, рабочих, если мне память не изменяет, 49. Выступали тов. «Яцек» и я. Пели революционные песни, на высоком шесте развевался красный с соответствующей надписью. Потом рабочие нас подхватили и стали качать на руках, за что «Яцек» рабочую братию слегка отчитал[87].

Эти воспоминания дополняет Альфонс Моравский:

> Его речь и другие горячие выступления так взволновали слушателей, что на обратном пути в город эти молодые демонстранты во главе с Ф.Дзержинским, с революционными песнями и криками набросились – не имея лучшего объекта – на молодое дерево и вырвали его из земли с корнем. При этом они с энтузиазмом восклицали: «Так мы вскоре поступим с русским самодержавием»[88].

В этих первых акциях было больше эмоций, чем выверенных решений, больше радости, как у детей, чем тактически рассчитанных действий.

Дзержинский вспоминал: «В 1896 годуя просил товарищей посылать меня на массовую работу, не только на кружки. (…) Мне удалось стать агитатором и получить доступ к еще нетронутым массам – на вечеринки, в пивные, туда, где собирались рабочие»[89]. Оказалось, что молодой Феликс легко устанавливает контакты с людьми, что при шляхетском красноречии выходца с восточных окраин агитаторская работа становится его стихией. Среди рабочих он с самого начала чувствует себя превосходно – позже он писал жене из тюрьмы, что лучше всего ему среди детей и рабочих. А рабочие спустя годы вспоминали, что с ним можно было говорить как о большой политике, так и о каждодневных заботах рабочей семьи или об их развлечениях.

Анджею Гульбиновичу, прекрасно знавшему рабочую среду, так как он сам был выходцем из нее, так запомнился Дзержинский того времени: «Он сразу пришелся нам по сердцу, потому что был прост в словах и в обхождении, живой, подвижный и энергичный (…). Это был юноша из огня и серы. На собраниях, если мне память не изменяет, длинных докладов и речей не говорил (…), а если высказывался, то коротко и ясно»[90]. Гульбинович даже говорил, что до появления товарища «Яцека» они были плохо организованы и слабо ориентировались в политических вопросах, а он стал читать им брошюры и объяснять их содержание.

Большое влияние на настроения рабочих Вильно тех лет оказывала ППС, но так как за сознание рабочих боролись также и эсдеки (социал-демократы. – *Прим. перев*.), то соперничество между этими социалистическими организациями было чрезвычайно напряженным. Эмоции с обеих сторон били через край: не раз при случайных встречах дело доходило до мордобоя, потому что рядовыми членами были, главным образом, молодые горячие головы, часто сопляки и обычные хулиганы. Случалось, что использовались даже методы, не имеющие ничего общего с партийной совестью: доносили друг на друга в Охранку. И только совместная отсидка в тюрьме или конфронтация с эндеками (национал-демократами. – *Прим. перев.)* консолидировала их во имя социалистических ценностей.

Дзержинский и Гульбинович тоже прошли через это. А может это владельцы какой-нибудь фабрики, где велась агитация, заплатили кому надо за то, чтобы устроить им взбучку? Во всяком случае:

Мы встретились с «Яцеком» в условленном месте и пошли, разговаривая друг с другом, – вспоминает революционный поэт. – Вдруг ни с того, ни с сего на нас напало пятеро хулиганов с палками. Били меня и «Яцека» самым жестоким образом. Мне удалось только покусать одному мерзавцу ухо и палец. Избитые, все в крови, мы попросили воды у какой-то женщины из ближайшего дома, немного обмылись и пошли в полицию, чтобы составить протокол об избиении[91].

В 1922 году в одном из интервью Дзержинский рассказывал, что они с Гульбиновичем ходили на вечеринки в пивные, где после работы собирались рабочие. «Там я вел агитацию по экономическим вопросам. О политике (царе и ему подобных) говорить было нельзя. Когда однажды в корчме около Стефановского рынка один старый рабочий заговорил о восстании, другие рабочие побили его бутылками»[92]. Гульбинович объясняет это следующим образом: «Было брожение рабочих масс, но прежде всего на фоне чисто экономических требований»[93]. Эта злость на глашатаев национально-освободительных лозунгов имела вполне рациональную основу: польский фабрикант угнетал рабочего точно так же, как русский или немецкий. Агитаторов били, но и штрейкбрехеров лупили тоже. Смертельные жертвы также были – вспомнить хотя бы известных в Вильно шпиков[94].

В январе 1897 года в Петербурге прошла крупная забастовка прядильщиков и ткачей. ЛСДП быстро воспользовалась случаем и 21 января выпустила воззвание к вильненским рабочим, которое было распространено на фабриках. Дзержинский часто занимался выпуском воззваний к рабочим.

> У нас не было достаточно хорошо законспирированной квартиры, где можно было бы в относительной безопасности хранить гектограф и печатать листовки, – пишет Гульбинович. – Тов. «Яцек» взялся решить эту проблему и решил. Он снял квартиру на Снеговой улице рядом с полицейским участком. Прихожу к нему на новую квартиру, а мой «Яцек» работает на гектографе, аж пот со лба капает. Говорю ему: по-моему не очень безопасна такая работа около волчьей пасти. «Яцек» пожал плечами: именно здесь самое безопасное место, потому что им и в голову не придет под самым своим носом искать «нелегальщину». Вот, лучше помоги, будет быстрее[95].

Вскоре среди литовских социал-демократов прошли массовые аресты. Надо было скрыться и законспирироваться.

Что касается двадцатилетнего Дзержинского, то эта ситуация вовсе не оказалась для него безнадежной – она просто означала партийную командировку в места, где у него была возможность установить контакт с большой группой рабочих. «В начале 1897 года партия направила меня в качестве агитатора и организатора в Ковно, промышленный город, где не было социал-демократической организации и где совсем недавно потерпела провал ППС», – пишет он в автобиографии[96].

Альфонс Моравский хорошо помнит, что Феликс поехал в Ковно как простой рабочий. Это очень важно. С этого момента Дзержинский хочет не только агитировать рабочих – он стремится стать рабочим, и в значительной мере это ему удается. В будущем во время встреч с партийными лидерами его часто будут воспринимать как представителя рабочего класса. Как, например, Лев Мартов, возглавлявший меньшевиков.

Согласно полицейскому рапорту Дзержинский «прибыл в Ковно 18 марта сего года [1897] и поселился на квартире в доме Келчевской, а оттуда 6-го июля переехал в дом Воло-

вича»[97]. Об этом периоде Феликс напишет: «Условия моего пребывания в Ковно были чрезвычайно тяжелые. Я устроился на работу переплетчиком и очень бедствовал. Иногда слюнки текли, когда я приходил к рабочим домой, и в нос ударял запах блинов или чего-нибудь еще. Иногда рабочие приглашали вместе поесть, но я отказывался, уверяя, что уже ел, хотя в желудке было пусто»[98]. Почему отказывался? Потому что сытый голодного не разумеет? Мог, конечно, взять это за принцип. Героико-мученический контекст, без сомнения, играл определенную роль. Но самое главное, что «работа шла хорошо и давала результаты. Были налажены отношения со всеми предприятиями».

В марте 1897 года рабочие завода Розенблюма в Алексоте под Ковно добились сокращения рабочего дня. А Дзержинский начал печатать на гектографе прокламации. 1 апреля из-под его пера вышел первый номер «Ковенского Рабочего» – газетки на семи страницах крупного формата.

> Я столкнулся с заводской массой и одновременно с неслыханной нищетой и эксплуатацией, особенно женского труда, – вспоминает он в автобиографии. – Я дал массу материала в «Ковенском Рабочем» о положении ковенских рабочих (вышел всего один номер, материал в нем только мой)[99].

Нищета, с которой он столкнулся в Ковно, была действительно поразительная. В статье *Фабрика Рекоша* он писал:

> Нас здесь работает около 200 человек, работаем, как и в других местах, 13 часов. Зарплата, однако, очень слабая, тем более, что, работая поштучно [то есть от штуки], не бывает почти ни одной субботы, чтобы кого-то из нас не ободрали [то есть не снизили ставку за штуку] (…). Некоторые рабочие жаловались и инспектору уже не раз, но и это не помогло, он сам такой же ворон, тоже отвечает, что если тебе плохо, то не работай. Это самая большая наша беда. Вот недавно один из нас выработал на 15 рублей, а получил 7 рублей 50 копеек.

Поэтому Дзержинский призывает: «Давайте и мы, товарищи, будем бороться по примеру петербургских рабочих и поставим Рекошу наши требования»[100]. А в статье *Как нам бороться?* указывает, что самый лучший метод борьбы – это прекратить работу, когда много срочной работы, тогда легче выиграть. Через много лет он будет вспоминать, что на фабриках и заводах Ковно научился на практике организовывать забастовку[101].

25 апреля в Ковно появился Юзеф Олехнович, слесарь, который после убийства шпика «Рафалка» – Рафала Моисеева – был вынужден бежать из Вильно. В Ковно он поступил на работу в мастерскую Подберезского подмастерьем сапожника. Непосредственно перед 1 мая он вместе с Дзержинским организовал за городом большое собрание рабочих, на

котором оба выступили с речью. По этому случаю была выпущена прокламация, в которой Феликс задорно призывал: «Пусть сгинут тираны, пусть сгинут живодеры и пусть сгинут предатели. Да здравствует наше святое рабочее дело. Смело в бой, и победа будет за нами. Дружно, братья, вперед»[102].

Еще до того, как Дзержинский начал работать в Ковно, в литовской социал-демократии все больше намечался раскол. С острой критикой программы партии выступил Станислав Трусевич «Очкарик», опытный социалист, конспиратор и узник царизма. Он утверждал, что происходит полное извращение теории социализма, что патриотические кружки ведут все движение по ложному пути и что вместо борьбы с ППС идут по ее стопам. Наконец, он вывел из партии ведущих рабочих и основал Рабочий союз в Литве. Но уход группы Тру-

севича не очистил атмосферу в ЛСДП. В ней начали образовываться две фракции – крайне левая, интернационалистическая (к которой со временем присоединился Дзержинский) и правая, патриотическая. Характерно, что правую фракцию возглавили те, кто раньше оказывали самое большое влияние на молодого агитатора: Домашевич, Малецкий, Баранович[103].

В партии продолжается идеологический спор[104], а Дзержинский в Ковно, как ему велит собственное сердце, решает его на практике. Он вступает в конфликт с мастерами одной сапожной мастерской. Они агитируют за сбор денег на памятник Адаму Мицкевичу, который должен быть воздвигнут в Варшаве. Феликс с ними не соглашается, так как считает, что нельзя смешивать рабочее дело с делом национальным. Через несколько лет он так сформулирует свою аргументацию: «Польский пролетариат мог бы сознательно бороться за независимость, если бы это касалось его непосредственно, то есть если бы независимая Польша была социалистической. Лишь социалистический строй является, несомненно, окончательной целью нашей борьбы, но было бы утопией считать, что его уже сейчас можно установить в Польше»[105]. Понятие диктатуры пролетариата было ему в то время еще совсем незнакомо. Необходимость объединения экономической борьбы с политической – как он сам пишет в автобиографии – он во всей полноте поймет лишь в ссылке. И пройдет еще несколько лет, прежде чем Роза Люксембург скажет: «У него большевистское сердце».

V. Первая любовь. первая ссылка

В первый раз Дзержинского арестовали 17 июля 1897 года в Ковно. Ему было двадцать лет. Его взяли на улице по доносу одного рабочего-подростка, который – как пишет Дзержинский в автобиографии – соблазнился на десять рублей, обещанные жандармами. Однако, из полицейских рапортов следует, что доносчиков было больше. На допросе Феликс назвался Эдмундом Ромуальдом Жебровским, шляхтичем из Минска. Отвечать на вопросы отказался. Через пять дней начальник жандармерии доносил прокурору в Вильно, что выдававший себя за Жебровского назвал свою настоящую фамилию и адрес жительства, но вины своей не признаёт. Прибытие в Ковно объясняет желанием сдать экзамен на аттестат зрелости в здешней гимназии, от чего он, однако, отказался. После допроса Дзержинского посадили в камеру ковенской тюрьмы.

В известной книге *Родословные непокорных* Богдан Путинский писал: «Биография революционера заключала в себе не только опыт лихорадочной деятельности, но и опыт длительного и вынужденного внутреннего бездействия. Арест должен был произойти рано или поздно»[106]. А если арест, то и вероятность смертного приговора, в то время как смерть для человека, считающего себя атеистом, означала абсолютный конец. Несмотря на это, революционеры были готовы пожертвовать собой ради чего-то, о чем они знали лишь то, что надо умереть, чтобы оно свершилось. Это был акт чистого героизма[107].

Тюрьма в Ковно представляла собой место заключения с довольно мягким для того времени режимом. Дзержинский учил немецкий, читал, его навещали родственники. Там он успел взбунтоваться против тюремной администрации, когда у него забрали принесенные братом почтовые марки, конверты и писчую бумагу Он написал жалобу тюремному инспектору и через пять минут после ее подачи, вспоминает, попал в карцер.

> Ты называешь меня «бедненький», ты сильно ошибаешься, – писал он Альдоне 13 января 1898 года. – Правда, не могу сказать о себе, что я доволен и счастлив, но это не потому, что сижу в тюрьме. Могу сказать с полной уверенностью, что я счастливее тех, кто на воле ведет бессмысленную жизнь. И если бы мне пришлось выбирать: тюрьма или жизнь на воле, не задумываясь, я бы выбрал тюрьму, иначе не стоит существовать[108].
>
> Сестре такая аргументация показалась безумством.

Дзержинский провел в тюрьме в Ковно почти год. Его дело было передано в Петербург в министерство юстиции с предложением отправить в административную ссылку сроком на пять лет. Министр, учитывая, что узник был несовершеннолетним, сократил срок до трех лет, а царь Николай II милостью своею приговор утвердил: “Выслать Феликса Дзержинского под явный надзор полиции в вятскую губернию на три года”[109]. Конкретнее – в Нолинск, где в свое время находились Александр Герцен, Михаил Салтыков-Щедрин и Владимир Короленко. Дзержинский отправляется туда под конвоем 25 июня 1898 года.

Эта первая ссылка будет самой длительной – тринадцать месяцев. В этот период Феликс и Альдона много пишут друг другу. Он просит сообщать ему о четверых племянниках, беспокоится о здоровье шурина, о работе сестры. Вспоминает их детство, восхищается природой в Дзержиново, ну и – спорит с сестрой на идеологической почве. Альдона, как ревностная католичка, борется с его атеизмом, как пылкая патриотка – с его интернационализмом, а как шляхтянка – с его социализмом. Пребывание брата в тюрьме у нее ни в коей мере не ассоциируется с добровольным мученичеством. Несмотря на все споры, ее письма являются для узника своего рода лекарством[110].

7 сентября 1898 года он сообщает, что путь к месту ссылки был «чрезвычайно приятный, если таковыми считать блох, клопов и т. п.». «Я больше сидел в «тюрьмах», чем был в дороге. По Оке, Волге, Каме и Вятке мы ехали на пароходе. Это необычайно удобный путь, нас напихали в так называемый «трюм» как селедок в бочке, из-за отсутствия света, воздуха и вентиляции стояла такая духота, что, несмотря на наше адамово неглиже, мы чувствовали себя как в бане, и так было не раз по несколько дней». В Вятке[111] его освободили и позволили самостоятельно добираться в Нолинск, маленький городишко, насчитывавший тогда пять тысяч жителей, в том числе несколько ссыльных из Москвы и Питера. «Есть с кем поболтать, – пишет он далее сестре, – только беда в том, что болтовня вызывает у меня отвращение, я [хочу] работать, работать так, чтобы чувствовать, что живу не напрасно. (…) Уже хожу на прогулки и забываю о тюрьме, но о неволе не забываю, потому что и сейчас я не свободен». Затем он горячо убеждает Альдону: «Но придет время, когда я буду свободен, и тогда я им отплачу за все «. Последнее предложение можно было бы рассматривать как стремление к личной мести. Но для Феликса речь шла не об этом. Как революционер, он хотел отплатить за несправедливость в отношении не себя, а таких как он.

Но самым важным в этом письме было то, что все больше и больше проявлялись мировоззренческие различия, которые отделили его от родной семьи.

> Когда я пишу кому-нибудь из нашей семьи, мне постоянно приходит в голову одна и та же мысль: почему из вас всех один только я вступил на этот путь? Как было бы хорошо, если бы все. О, тогда бы ничто нам не мешало жить друг с другом как родные, и больше, и ближе, чем родные. Но жизнь нас разделила, одних унес один поток, других – другой, а успех идеи одних является смертью для других, и именно это противоречие ведет к не слишком открытым отношениям между нами[112].

В Нолинске он снял комнатку за четыре рубля в месяц, «чистую, в нешумном и вполне порядочном доме», и столовался за три рубля у одного из ссыльных. «Но думаю прекратить столоваться у него, потому что нужно каждый день туда ходить, а осенью здесь такая грязь, что, образно говоря, можно утонуть. А в общем жизнь здесь довольно дешевая». На короткое время нашел работу на табачной фабрике, но вскоре «уже бросил, потому что глаза снова разболелись (трахома у меня знатная) – некоторые считают, что со временем могу ослепнуть». Потом занялся написанием писем для местных крестьян и, наконец, стал ездить двадцать верст за Нолинск «на несколько дней работы у одного инженера, поляка (порядочного эксплуататора)», который его «надул (…) на 50 коп., то есть на дневной заработок»[113]. Энергия молодости и убежденности распирает его. Он устанавливает контакты с другими ссыльными, рабочими и с местным населением. В конце концов вятский губернатор получает донесение полиции о том, что Дзержинский «сеет враждебное отношение к монархии» и что это «вспыльчивый и раздраженный идеалист», так что «за строптивый характер и скандалы с полицией»[114] должен быть переведен в деревню Кайгородское, называемую в народе Кай, 500 верст (более 500 км) севернее Нолинска – а там вокруг только лес и болота. Из письма Альдоне 1 января 1899 года:

> Летом комаров миллионы. Без сетки нельзя ходить и окна открывать. Морозы доходят до 40 градусов. Да и жизнь здесь не дешевле, чем в уездном городе, а может даже дороже. (…) Мы здесь [с другим ссыльным Александром Якшиным] сами себе обед готовим, купили самовар. Здесь хорошо охотиться, можно даже немного заработать[115].

По возвращении из ссылки Феликс будет также рассказывать о медвежонке, которого ему подарили местные в благодарность за написание писем. Медвежонок был красивый и

очень к нему привязан. Научился по команде ловить рыбу. Но когда он подрос, то стал агрессивным: начал ловить домашнюю птицу, даже нападать на человека и, в конце концов, искусал Феликса, который с болью в сердце был вынужден медвежонка пристрелить.

В пространных письмах сестре молодой Дзержинский пишет практически обо всем, но ни словом не упоминает одну женщину[116]. Она появилась еще в Вятке. Русская, старше Феликса на четыре года. Маргарита Николаева. Его первая любовь.

Маргарита – это явно выраженный тип феминистки (нигилистки?). Она училась на высших женских курсах в Петербурге. Будучи членом тайных кружков, занималась изданием и распространением нелегальной литературы, за что на три года была сослана в Нолинск. Умеющая вести себя в обществе, образованная, знающая литературу, историю и искусство – она оказалась для молодого человека хорошим развлечением. А он импонировал ей красотой и происхождением – у русских женщин поляки пользовались славой горячих любовников.

Для нее этот кратковременный союз был чем-то очень важным, для него – важным в определенной степени, обусловленной положением ссыльного. Он метался между симпатией и чувством. Сохранился фрагмент его дневника, который он вел в Кайгородском и где 1 декабря 1898 года записал: «Как жаль, что она не мужчина. Тогда мы могли бы стать друзьями». Феликс признается: «Женщин, честно говоря, я боюсь. Боюсь того, что дружба с женщиной рано или поздно должна перейти в животное чувство»[117]. Ведь он уже выбрал жизнь революционера, а связаться с женщиной означало сойти с пути миссионера. Сознавая свою горячность, он отдавал себе отчет в том, что любовь может выжечь, истребить в нем его политическую увлеченность.

После перевода в Кайгородское они активно переписываются. Из этой переписки сохранились только письма Феликса Маргарите[118]. Для Дзержинского они – как и письма Альдоне – своего рода терапия: в них он может отразить все, что в данный момент его больше всего заботит, восхищает, склоняет к раздумьям. Из писем следует, что у Феликса бывали минуты экзистенциальных сомнений, что его терзало эмоциональное напряжение, характерное для таких личностей, как он. «Однажды я несправедливо накричал на него [Якшина], что он говорит ерунду, в другой раз он страшно на меня разозлился». В другом месте: «Долго не могу заснуть, он засыпает, а я лежу и думаю»[119].

Лев Троцкий так описывал подобное состояние: «Некоторых из ссыльных поглощала окружающая среда, особенно в городах. Иные спивались. В ссылке, как и в тюрьме, спасала только напряженная работа над собой. Следует признать, что теоретически над собой работали только марксисты»[120].

Феликс работал. В письмах Маргарите он описывал книги, которые читал: Джона Стюарта Милля («но это только теория»), Карла Маркса («жутко много придется поработать, чтобы как следует усвоить Марксово учение и не быть только догматиком»), Пьера Жозефа Прудона, Сергея Н. Булгакова марксистского периода («трудная, но важная книга»), Волгина [Георгия Плеханова], Евангелие («может пригодиться в будущем») и Фауста Иоганна Вольфганга Гёте («хоть и не понимаю»). Тургенева же он ненавидел «за то, что под его влиянием человек начинает жить больше раздумьями, чем борьбой».

При этом он очень интересуется жизнью деревни. Вместе с Якшиным они ходят по деревенским хатам, на сельские собрания и суды. Изучают здешние обычаи, например, похороны: «Могила еще не выкопана, а земля промерзла на 2 аршина. Случился скандал.». Поп, «пьяница страшный», на похороны не пришел, потому что «надо было заплатить до 10 рублей», а «за венчание берет не меньше 15 рублей». Когда могилу закопали, «никто даже не заплакал», потому что «нет здесь этой притворной скорби, без которой мы даже шагу ступить не можем». В другом месте: «Купцы здесь набивают себе карманы, продавая все втри-

дорога, а рабочим платят гроши. Есть такая польская поговорка: «Пока солнце взойдет, роса очи выест». Так и здесь»: сельскохозяйственный инвентарь примитивный, бани ужасные, бабы носят молоко в горшках, в которых кашу варили, а потом не вымыли. Феликс описывает Маргарите и свой день: «С 8 до 10 часов – уборка, работы по хозяйству, чай, 10–12 — немецкий язык, 12–14— экономические книги, 14–17 – обед и прогулка, 17–19 – легкие книжки и публицистика, 19–21 – чай, 21–24 – написание писем, серьезные книги, в воскресенье – отдых и визиты. И как Вам это нравится?».

Даже в этих письмах Дзержинский не выходит из роли агитатора. Он все время дает Маргарите советы: нужно накапливать достаточно знаний для революционной работы. Следует помнить, что «наука важна, пока ее можно использовать в жизни», а теорию нужно тщательно изучать только затем, чтобы «заставлять башку думать». При этом надо отбирать самое ценное знание, поэтому не стоит с доверием относиться к метафизике – так как она не может описывать действительность – и нужно быть осторожным с философией, «которая часто использует лишь изящную игру слов, не имеющих ничего общего с реальным миром». Поэтому: «Я бы советовал читать и изучать книги на социальные темы: исторические, по политической экономии, в которых описывается положение рабочих как в России, так и в Западной Европе»[121]. А если материал трудный или вообще непонятный, то следует отнестись к нему критически и подобрать другую литературу.

Следовала ли Маргарита этим советам? В любви возможно все.

Переполненный противоположными эмоциями, в состоянии то эйфории, то нервного расстройства[122], в письмах к возлюбленной Феликс затрагивает – может, не полностью осознавая – наиболее деликатную струну женской психики. 2 января 1899 года он пишет:

> Вы помните тот вечер (…), когда я пытался убедить и себя и Вас, что это только дружба. После того вечера я многое понял. Но вдруг появляется сомнение – могу ли я, считая себя и будучи в действительности эгоистом (…), испытать когда-нибудь такое чувство, а когда испытаю, не должен ли я все это прекратить и забыть, чтобы не превратиться в животное?

И, несмотря на все сомнения, уверяет:

> Я Вас люблю, так сильно, как только умею, и как в жизни никого не любил. Вы сосредоточили на себе все мои чувства, о которых ранее я не имел понятия, потому что был слишком сильно занят делом, а тогда нет времени на то, чтобы разбираться в чувствах. Чувство толкало меня на дело, ради которого я не щадил себя и только о нем думал. Я видел себя исполином, даже сравнивал себя с Христом, и мне казалось, что я могу постичь все людские страдания, страдать за других и выкупить человечество.

И убеждает (скорее себя, чем её): «я хочу быть рабочим». Такая аргументация должна была вызвать во влюбленной в него женщине чувство восхищения, но одновременно и причинить ей боль, потому что она, наверное, хотела бы, чтобы он страдал только ради неё. А он еще пишет, что сейчас он «карлик», и задает риторический вопрос, как же тут «жить счастливо, когда миллионы страдают, борются и погибают».

Что же Маргарита могла ему на это ответить? Наверное (как большинство влюбленных женщин), приняла бы любое проявление его животных чувств и карликовости. С одной стороны, она пытается воспользоваться методом: через дело – к сердцу (Феликс пишет ей: «Я рад, что пробудил в Вас эти чувства, столь важные для дела»), с другой – начинает сомневаться, сможет ли она подчинить личную жизнь жизни общественной? У него же все как раз наоборот:

Одно дополняет другое: личное – общественное, а общественная жизнь дополняет и детерминирует личную. Наше счастье – это совместная работа и взаимная поддержка в этой работе. Ведь мы ставим дело выше себя, даже если в борьбе кому-то из нас раньше придется погибнуть. И тогда другой с еще большей силой продолжит борьбу.

Неужели? Маргарита хочет любить мужчину и вместе с ним жить!

В середине марта 1899 года Феликс пишет: «Приезжай как можно скорее, моя голубка!», но когда замечает, что она приняла это слишком близко к сердцу, 26 апреля поправляется: «Нет никакой нужды, чтобы ты приезжала ко мне навсегда. Я могу совсем погубить твою жизнь (…). Мы никогда не будем мужем и женой, тогда зачем связывать себя, зачем друг друга ограничивать»[123]. Несмотря на это, Маргарита просит власти разрешить ей навестить больного. В июне она получает такое разрешение. Она собирает книги, журналы, чтобы привезти ему свежую литературу, и, наконец, едет к любимому! Возвращается она намного раньше, чем намеревалась. Позже она расскажет своей знакомой, что он ее по сути дела прогнал. Наверное, он уже жил планом побега, о чем ей ничего не сказал.

Как могла ему прийти в голову такая мысль? Наверное, слышал о тех, которым удалось бежать из ссылки. При этом он был молод, ловок, жаждал конкретного дела. Ну и не держался за жизнь. Сестре он писал, что чувствует в себе ужасающую пустоту и ни с кем не может разговаривать спокойно, без эмоций. «Думал, что с ума сойду», – совершенно искренне признается он Альдоне. Он отправляется в путь 28 августа 1899 года и проходит полторы тысячи километров в одиночку! У своей хозяйки Лузыниной он взял запас продовольствия на один день, уверив ее, что идет в лес на охоту. С собой у него немного денег: часть прислали родственники, часть заработал в Кайе. Благодаря им, он сможет воспользоваться поездом. Хуже с документами. Он уходит без паспорта, предполагая, что ему удастся обойти все проверки. Сначала он берет лодку и плывет вверх по реке Каме. Плыть против течения он запланировал сознательно, потому что беглецы обычно отправляются вниз по реке, чтобы быстрее добраться до железной дороги. Полиция прекрасно об этом знает.

Хорошо, что у него с собой охотничье ружье, потому что в один прекрасный момент, сойдя на берег, он подвергнется нападению «бродяг». Отстреливаясь, ему удастся вывести лодку на середину реки. Потом пешком, через густой лес он идет к железнодорожной станции. Иногда ему приходится ночевать в деревенской избе, хоть мужики и смотрят подозрительно, выспрашивают, кто такой, куда идешь, а за поимку беглых они получают от властей по три рубля. В конце концов он добирается до станции и на поезде приезжает в Вильно. Вслед за беглецом поступает распоряжение: «Найти, арестовать и передать в распоряжение вятского генерал-губернатора, оповестив об этом департамент полиции»[124]. Но он быстрее. Почти так же быстро среди социал-демократов рождается легенда об этом побеге, которую передают из уст в уста. Товарищи начинают уважать этого двадцатидвухлетнего молокососа.

А контакт с погруженной в отчаяние Маргаритой, до которой доходит весть о побеге, прерывается на два года. Потом она отыщет его адрес, напишет. Его вновь арестуют и в 1901 году из тюрьмы в Седльцах он напишет ей два последних письма. 27 мая: «о «прошлом мне хотелось бы забыть – теперь моя жизнь сложилась так, что я буду вечным скитальцем». Она отвечает ему в сентябре, что ее чувства к нему не изменились. В ответ на это Феликс пишет 27 ноября: «Думаю, Вы поймете, что для нас обоих будет лучше не писать друг другу, так как это только разбередит раны. В ближайшие дни еду в Сибирь на 5 лет, что означает, что не увидимся уже никогда. Я бродяга, а жить с бродягой – значит нажить себе беды. (…) Прошлое – как дым»[125] – философски заключает Феликс, что для Маргариты как острый нож прямо в сердце.

Конечно, он ни словом не упоминает, что в это время его навещает другая возлюбленная – Юлия Гольдман.

VI. Речь идет обо всем мире. Организатор

«Ты спросишь, что меня гнало из дома? – напишет Феликс Альдоне в 1900 году. – Ностальгия. Но не по той родине, которую выдумали филистеры, а по той, которая в моей душе так укоренилась, что ничто не сможет ее оттуда вымести, разве что вместе с душой»[126]. Этой родиной является идея справедливости, идея освобождения бедных и обездоленных людей, где бы они ни жили. Невзирая на государства и нации. И эта ностальгия – как он сам ее называет – действительно гонит его вперед в бешеном темпе. Часть его товарищей по литовской социал-демократии после одной отсидки и ссылки уже по горло сыта конспирацией. Он же наоборот – становится еще более энергичным.

В автобиографии Феликс отмечает, что после побега из вятской ссылки он приехал в Вильно, но никого из старых деятелей рабочего движения уже не застал. После многочисленных арестов ЛСДП была разгромлена, а большинство ее членов сидели в тюрьме или были сосланы. Оставшиеся на свободе вели переговоры с ППС об объединении в одну партию. Дзержинский пытается этому воспрепятствовать, но безуспешно. Ему удается установить контакт с Мечиславом Козловским из Рабочего союза и Эдвардом Соколовским, прежним товарищем по ЛСДП. Соколовский вспоминал: «В августе 1899 года я встретил Дзержинского на углу переулков Бернардинского и Ботанического. Он вел себя очень осторожно. Поздоровался со мной только тогда, когда убедился, что поблизости никого нет». Дату он указал неправильно: эта встреча могла состояться не раньше сентября. «Позже он мне рассказывал, – продолжал Соколовский, – что попал к старым друзьям Малецкому, Барановичу и другим, а те не захотели допустить его к рабочим Вильно и советовали уехать за границу»[127]. То есть его бывшие друзья-иисусовцы склонялись теперь на сторону социал-патриотов, и мировоззренческие различия между ними и Дзержинским были уже настолько велики, что не позволили ему остаться в их рядах.

Не имея возможности добиться чего-либо в Вильно, Феликс связывается с социал-демократами в Варшаве и с помощью контрабандистов, спрятавшись в еврейской бричке, переправляется в Царство Польское[128]. Там, купив за 10 рублей фальшивый паспорт, он на поезде едет в Варшаву.

А в Варшаве, как он позже напишет,

> «в среде пролетариата работали только две организации: ППС и Бунд». Как и ЛСДП в Вильно, социал-демократия Царства Польского (СДКП) после арестов в 1895 году практически перестала существовать.
>
> Но в лоне ППС – среди пролетариев, была масса – огромное большинство – рабочих, оппозиционно настроенных в отношении ППС, мыслящих по-пролетарски, но состоящих в ППС по той причине, что партии СД [социал-демократической] не было, а вся литература издавалась ППС. Значит, надо энергично приниматься за дело и за создание организации.
>
> В такой обстановке:
>
> Я принялся за эту работу вместе со старым Росолом[129] и его сыном, и вскоре, накануне Рождества 1899 года мы организовались. Мы создали Рабочий союз СД в Варшаве, в который вошли: сапожники, столяры, лакировальщики, пекари, обработчики металла и другие. Весь сапожный цех был в СД. Из других профессий только часть сознательных была у нас, остальные оставались в ППС. Нам пришлось провести просто невероятную агитацию в интересах СД[130].

Под влиянием той же агитации рабочие из группы «росоловцев» начали связывать пропаганду ППС за независимость с амбициями интеллигенции. Они называли это внесением сумбура в сознание рабочих патриотичными барышнями и барчонками.

На воссоздании варшавской СДКП Дзержинский не останавливается. В конце декабря 1899 года он возвращается в Вильно, чтобы договориться с местными эсдеками. Соколовский, участвовавший во встрече лидеров этой организации с Дзержинским, сообщает, что Феликс предложил объединить литовские группы с группами из Королевства, где программной основой (получившей название *Виленский набросок*) должна стать программа российских социал-демократов, а главным постулатом – борьба за общероссийскую конституцию. При этом партия должна была отойти от идеологии борьбы за независимость. Партия получила название Социал-демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). Она выразила также свое отношение к ППС – было признано, что эта организация не является строго классовой, то есть рабочей. С ее программой социал-демократы не согласны, но признают ее как одну из революционных партий, борющихся с царизмом[131].

Абстрагируясь от идеологической полемики, от вопросов: был ли правильным отказ от борьбы за независимость, было ли правильным столь сильное сближение с российской социал-демократией и пошло ли все это нам на пользу – одно следует объективно признать: Дзержинский – тогда двадцатидвухлетний юноша – проявил себя как крупный организаторский талант. Он совершил необычайно большое дело: воскресил партию в обход более старших товарищей и к тому же добился объединения варшавской группы с виленской группой. Как утверждает Соколовский, за несколько месяцев ему удалось сделать то, чего другие не смогли сделать в течение лет. Создание СДКПиЛ стало фактом.

Лишить эту партию доброго имени за ее твердую интернациональную позицию – значит допустить несправедливое упрощение. У нее была своя правда и она имела основание проводить такую, а не иную политику. Это хорошо объясняет Вацлав Сольский, вступивший в лодзинскую СДКПиЛ и спустя годы рассказавший, почему он так сделал, хотя старший брат был членом ППС.

> Потому что [эта партия] была самая общечеловеческая. С самого начала я входил в кружки, руководимые социал-демократией, которая имела взгляд универсальный, а не узко польский. Это можно было бы выразить коротко, но немного вульгарно: ППС занималась Польшей. Мы с братом вели острые споры. Я упрекал его, что ППС думает только о Польше. Впрочем, так и было. В политических вопросах ППС заботилась только о Польше, а социал-демократия – обо всем мире. Для меня это было решающим фактором, потому что тогда я уже был врагом всяких легких патриотизмов, иначе говоря – шовинизмов, которые в ППС были. В СДКПиЛ этого не было. Неправда, что в СДКПиЛ о польском орле говорили, что это гусь. Это были остроты в наш адрес. Но ориентация у нас была общемировая[132].

Наверное, под этим высказыванием мог бы подписаться и молодой Феликс Дзержинский[133].

В Варшаве, наряду с контактами с рабочими, у Дзержинского были контакты и с интеллигенцией. На рубеже XIX и XX века социализм стал модной и даже обязательной позицией в кругах интеллигенции, поэтому революционеров охотно приглашали в дома и в салоны. В то время в Варшаве славился литературный салон Валерии Маррен-Можковской, писательницы-позитивистки и феминистки, в доме которой бывали тузы польской литературы (во главе с Прусом и Красовским), артисты, варшавская богема и авангард революционеров. Салон пани Можковской посещал и Дзержинский, его ввел туда польский социалист Юзеф Домбровский, будущий шурин Марии Домбровской. Это было уже после ссылки и побега,

что производило на общество соответствующее впечатление. К тому же очень молодой и со взглядом газели, что не ускользнуло от внимания дам. Он играл на фортепиано мазурки Шопена и участвовал в дискуссиях, в том числе и о литературе. Огромное впечатление на него произвел Выспяньский, особенно его эпическая пьеса о Болеславе Храбром. "Прочитай, – говорил он друзьям, – и увидишь, как это отличается от нашей современной болтовни. Выспяньский – это действительно незаурядный талант". В свою очередь, Дзержинскому не нравился Станислав Бжозовский, в то время божество всей прогрессивной Варшавы. Феликс говорил о нем: "Пан Бжозовский – это, кажется, обычный жулик"[134]. Однако, когда автор *Пламени* попал в финансовые затруднения, он внес свою лепту в организованный для писателя сбор денег.

Юзеф Домбровский «Грабец» в прекрасно написанных воспоминаниях о красной Варшаве начала XX века поместил (в 1925 году) такой портрет Феликса:

> Отмечу полное отсутствие фанатиков среди интеллигентов – членов ППС того времени. Однако, этот тип людей, замечу в скобках, я встретил тогда у «эсдеков» в образе нынешнего «Марата Красной России» – «Преступника с глазами газели и душой дьявола» – Феликса Дзержинского (…) в то время самого яростного врага ППС. Четверть века назад Дзержинский был очень молодым – двадцати трех или двадцати четырех лет – и необыкновенно симпатичным, хотя, после более длительного общения, и несносным юношей. Впервые я его увидел и познакомился с ним на съезде молодежных организаций средних школ, кажется, в 1895 году. Он тогда представлял виленские кружки. Впадающий в крайности и яростный в диспуте (…) он брал всех своей сердечностью и порядочностью. (…) Нервный, постоянно грызущий ногти, небрежно одетый, он был, в известной степени, типом из русской революции. Как в культурном, так и политическом отношении он был полностью русифицирован. Чрезвычайно способный и умный, он обучался исключительно на русской идеологии и литературе. (…) «Работа» была всей его жизнью, в которой он, возможно, пытался убежать от личных трагедий. Туберкулезник, ему к тому же грозила слепота из-за плохо вылеченной болезни глаз, живущий в постоянной нужде – он многое перенес в личной жизни. Помню, как сильно его опечалила смерть матери, которую он очень любил; он глубоко переживал также разрыв с невестой[135]. О внешности: высокий, худой, с характерным лицом и очень умными глазами, всегда смотрящими как бы из потустороннего мира, он часто попадал в поле зрения шпиков и попадался. Убегал и вновь принимался за работу. (…) Он всегда производил впечатление фанатика идеи социальной революции, вне которой он не видел никакого избавления[136].

Домбровский также признается, что Дзержинский подбирал ему людей из ППС – прежде всего рабочих, на которых, как великолепный оратор, он производил потрясающее впечатление.

Людвик Кшивицкий, другая важная фигура в варшавском обществе, был свидетелем столкновения на почве мировоззренческих разногласий между молокососом с Виленщины и хорошо известным в варшавских кругах партийным функционером Эдвардом Абрамовским. Абрамовский – прототип образа Шимона Гайовца из *Кануна весны* Стефана Жеромского – ранее был ортодоксальным марксистом, членом II Пролетариата, но после метаморфозы, наделавшей много шума, стал социалистом, не имеющим гражданства, с анархическими наклонностями и спиритической жилкой. Описание их полемики важно, потому что пока-

зывает простую, но парадоксально убийственную философию юнца в сравнении с интеллектуальными тирадами старшего коллеги.

Кшивицкий жил на улице Злотей. «Невозможно себе представить чего-то более противоречивого, чем встреча у меня Абрамовского и Дзержинского. Дзержинский был погружен в водоворот революционной нелегальщины, другими словами – безымянности и исчезновения с поверхности легальной жизни,

Абрамовского же изменение настроения толкнуло в направлении, далеком от прежнего мировоззрения, – пишет Кшивицкий в своих *Воспоминаниях*. – Они сошлись случайно: Абрамовский ничего не слышал о Дзержинском, Дзержинский же, по всей видимости, имел достаточно ясное представление об эволюциях Абрамовского. Он выбирал темы как бы намеренно, с целью поддразнить (…). Начался обмен мнениями: Дзержинский, в соответствии со своей жизненной философией, встал на позиции крайнего детерминизма, граничащего с фатализмом, точнее – детерминизма, исходящего из принципа так называемого исторического материализма, проникнутого фатализмом. «Я как атом воды, течение меня куда-то несет, не от меня зависит направление и скорость, с которой меня уносит течение, а если бы я, атом, имел свойство человеческой духовности, то есть если бы я мыслил, чувствовал, желал, то я бы следовал философии, которой следуете Вы, господин Абрамовский, я бы доказывал, что я, атом, влияю на направление течения, что от меня зависит скорость течения реки (…). Я устремлен к социализму, потому что каждый порядочный, умный человек, наслышанный о нынешних социальных теориях и увидевший человеческие страдания, должен быть социалистом». В ответ на это Абрамовский «скакал на стуле, его речь искрилась ловко подобранными аргументами, воспеванием свободы человеческих поступков, славословием в честь великих мужей, которые, в его понимании, переделывали историю. Тем временем Феликс сильнейшим образом донимал Абрамовского, заявляя, что тот как атом воды, который забыл, что он атом и изгибы течения приписывает своей воле. В этой полемике чувствовалось, – комментирует Кшивицкий, – что Абрамовский может очаровать небольшую группу женщин, своей искусной аргументацией может держать на привязи умы молодежи, своими статьями может воздействовать на сознание во много раз более многочисленной интеллигенции, но когда настанет время всколыхнуть народные массы, он ничего не сможет сделать там, где за Дзержинским пойдут тысячи»[137]

В феврале 1900 года Феликс вновь арестован по доносу одного из членов ППС. Впервые он сидит в X павильоне Варшавской цитадели, но в апреле его перевозят в Седльцы, где в тюрьме он ждет приговора. Он уже не является тюремным девственником. Ритм жизни за решеткой становится его ритмом. Михаил Островский, сидевший в Седльцах за участие в первомайской демонстрации 1901 года, вспоминал:

> Едва я успел расположиться в камере, как в дверном окошке показалось улыбающееся лицо Феликса Дзержинского (которого я знал по идеологическим диспутам в Варшаве). Феликс сердечно приветствовал меня словами: «Как дела, папаша! Попался?». Дал мне пакет черешни и сказал, что через час встретимся на прогулке.

Вспоминает Юзеф Ретке, член ППС:

> Шла непрерывная дискуссия между Дзержинским, представителем СДКПиЛ, и Парадовским и Гемборком из ППС; она проходила чаще всего при помощи переписки и касалась программных принципов ППС и СДКПиЛ. Дзержинский и мне прислал письма в форме лекций по социализму. Но в тюремной жизни он был очень отзывчивый, заботился о других заключенных. Он сидел в одной камере с Антоном Росолом, на II этаже. Росол совсем не мог ходить. Дзержинский выхлопотал для него более

> длительное пребывание на свежем воздухе и два раза в день – утром и после обеда – сносил и опять вносил Антона на руках. Во дворе он сажал его, как ребенка, под деревом, кормил молоком и белым хлебом за свой счет, так как Росол был совсем без денег[138].

Антек, сын Яна Росола болел туберкулезом костей и легких. Дзержинский организовал протест заключенных и, как утверждает Михаил Островский, вынудил администрацию перевести юношу под опеку матери.

Конечно, каждая отсидка – это вынужденное замедление темпа жизни. Снова можно подумать, повспоминать, вспомнить о родных. 25 апреля 1901 года Феликс пишет братьям: «Абсолютно не знаю, что слышно о нашей семье. Напишите мне о себе». 14 июня он пишет Альдоне:

> Недавно я в ответ написал тебе письмо, но забыл попросить, чтобы ты написала Владиславу, что если у него есть желание и будет возможность, то пусть он навестит меня. По крайней мере, побывает в Варшаве, и спустя долгое время и перед еще более долгим расставанием увидимся на несколько минут.

И подпись: «Ваш Неисправимый». А в июле 1901 года описывает сестре, как он выглядит:

> За эти несколько лет я изменился так, что некоторые давали мне лет 26, хотя бороды и усов у меня нет; выражение лица у меня обычно довольно хмурое и просветляется только когда я начинаю рассуждать и разглагольствовать; черты лица огрубели, я подурнел, на лбу уже три морщины, хожу, как и раньше, наклонившись, губы сжаты и к тому же я чрезвычайно нервный. Вообще-то думаю, что облик старой девы и мой очень похожи друг на друга.

В октябре в очередном письме Феликс раскрывается более философски:

> Однако, я часто думаю о том, как нас жизнь разделила, как прямо противоположно сформировала наши души. (…) Хоть я значительно моложе тебя, но думаю, что за свою короткую жизнь мне пришлось впитать в себя столько самых разных впечатлений, что не всякий старец мог бы этим похвалиться. И действительно, кто живет так, как я, долго жить не может; я не умею наполовину ненавидеть или любить, я не умею отдавать только половину души, я могу отдать либо всю её, либо не дать ничего (…), и если кто-то готов мне сказать: посмотри на свои морщины, на свой истощенный организм, на свою нынешнюю жизнь! Посмотри и пойми, что жизнь тебя сломала – я ему отвечу: не жизнь меня, а я жизнь сломал, не она меня износила, а я ее использовал полной грудью и всей душой своей[139].

VII. Я – христианин. Неизвестное письмо

> Думаете, я снова стал католиком? Нет! Я не католик!
>
> Я только христианин, я верю только в учение Христа, в Его Евангелие, в любовь Его неизмеримую к несчастным людям. Я верю, что для нашего избавления Он оставил нам свое учение, в завершение скрепленное печатью такой позорной смерти, верю, что Он живет только в наших сердцах, в сердцах тех, кто исполняет Его заветы, но не в зданиях, картинах, в железе, в дереве, верю, что Он живой для добрых и мертвый для злых, что хвалить Его можно только в делах, в правде и в духе, что сегодня исповедующим Его может быть только преследуемый за любовь к ближнему и готовый отдать за них и за себя свою душу и тело; я верю, что Бог Иисус Христос – это любовь. Иного Бога, кроме Него, у меня нет[140].

Это писал Феликс Дзержинский в октябре 1901 года в длинном письме сестре Альдоне и ее мужу Гедымину Булгак. Находясь в тюрьме в Седльцах, он благодарил за Евангелие, которое получил от них – но и негодовал по поводу того, что его считали «возвратившейся заблудшей овечкой». Это письмо никогда не было опубликовано полностью[141]. В 1951 году под предлогом организации выставки и издания семейной переписки революционера партия получила от Альдоны рукописное письмо, которое немедленно было сокрыто в архивах ЦК ПОРП. Ничего удивительного: во времена сталинского апогея в Польше оно стало бы огромной сенсацией и немалой головной болью – такого Дзержинского мы не знаем.

> Не тот христианин, кто имеет имя Учителя своего на устах, но тот, кто исполняет волю и заветы Его! – писал он далее в письме. – А поэтому, каким я раньше был, таким остаюсь и теперь, что раньше меня мучило, то и теперь мучает, что я раньше любил, то и теперь люблю, что раньше меня радовало, то и теперь радует, что я раньше делал, то и теперь делаю, о чем раньше думал, о том и теперь думаю, как раньше не миновала меня милость, что страдаю, так и теперь и никогда не минует; какими раньше были мои пути, такими и теперь будут, как раньше жил во мне Христос, хоть я и не знал этого, так и теперь живет, и я знаю об этом; как раньше я ненавидел зло, так и теперь его ненавижу, как сатану; как раньше я стремился к тому, чтобы не было несправедливости, преступлений, пьянства, распутства, излишеств, роскоши, утех дьявольских, публичных домов, где люди продают либо свое тело, либо свою душу, либо то и другое вместе, угнетения, борьбы, братоубийственных войн, племенной ненависти, так и теперь стремлюсь к этому всей силой своей души, и сейчас ношу то же имя, что и раньше, только добавив к нему имя христианина, и понял я и помню слова «Отче наш» – той единственной молитвы, которую Христос наказал произносить устам нашим в одиночестве, закрывшись от людей: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя как в небе [так] и на земле». Теперь я понял и слова Его: «И будет одно стадо и один Пастырь – Иисус, Любовь» (от Иоанна, гл.10). Да! Я – христианин, я страшно хочу им быть и лишь немного смог им быть! Я хотел бы все человечество объять своей любовью, обогреть его и отмыть от грязи; я хотел бы так любить его, как Христос возлюбил, и нести этот тяжкий крест, который Он нес, и пить из кубка, из которого Он пил, и чувствовать в сердце

> своем, что нет в нем ничего, кроме Любви, той божественной, и ненависти к царству дьявольскому[142].

Давайте не будем поддаваться видимости: это не письмо несостоявшегося священника. Это слова достойного сына социализма. Потому что социалисты корнем своих убеждений считали учение Христа, а образ жизни первых христианских коммун, где действовал наказ делиться всем – считали своим и насквозь демократическим. Они очень хорошо знали слова из *Деяний апостолов*: «Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого»[143]. В свою очередь, сильную неприязнь социалистов к Церкви вызывала ее связь с властью, или союз тиары с троном. Во всех европейских государствах во время церемонии коронации, совершаемой высшими представителями Церкви, короля или царя объявляли помазанником Божиим. В России со времен Ивана Грозного эта церемония миропомазания приобрела вид прямо-таки таинства крещения. Конечно, этот ритуал совершал патриарх Русской Церкви, что порождало уверенность, будто институт самодержавия был установлен самим Богом. Сама же Церковь от союза с троном получала огромные преимущества, автоматически совершая предательство малых мира сего, то есть становясь отрицанием учения Христа.

Насколько Христос был для социалистов квинтэссенцией любви, справедливости и революции[144], настолько власть Бога над миром они считали чистейшей формой феодализма. Бакунин заявлял, что если Бог существует, то человек является рабом, значит, требуя отмены рабства, мы должны отказаться и от самой идеи Бога. Но природа человека не терпит пустоты, она ищет причины и логику мироустройства, поэтому социалисты с таким энтузиазмом приняли теорию Дарвина и охотно изучали естественные науки. В учении Дарвина они видели идейное доказательство тезиса, что в самой природе глубоко укоренилась потребность личности жертвовать собой ради общего блага. А анархист князь Потемкин доказательство правильности тезиса о связи законов природы с социализмом нашел в далекой Сибири, где сделал открытие, что фундаментальным жизненным принципом является не соперничество, а сотрудничество.

По всей видимости, в одном из более ранних писем, которое не сохранилось, Феликс что-то говорил о Христе и о своей болезни легких, проводя между ними какую-то параллель, а сестра и ее муж интерпретировали его слова как возвращение блудного брата. Поэтому в октябре, отвечая на их письмо, Феликс путано и с возмущением пишет:

> Зачем вы мне говорите о смене пути, зачем пишете мне о милости в связи с болезнью моего тела?! (…)
>
> Я хочу вас любить, потому что люблю, а вы не хотите понять духа моего и искушаете меня, чтобы я сошел со своего пути! Так что же вам теперь нравится во мне больше, чем прежде? Почему вы стали более сердечно относиться ко мне? Неужели только потому, что я упомянул имя Христово, что вы услышали от меня это слово? О, нет! Не хочу, чтобы так было. Не хочу думать, что слово Христос, слово, состоящее из 7 букв: Христос, для вас дороже, чем сам живой и замученный Христос, его учение, заветы, любовь! И далее: Вы радуетесь, что я познал Христа, и сожалеете, что иду Его путем! Как же так? Неужели Его можно признавать только губами? (…) О, я ничтожный, во мне нет еще такой сильной любви, какую Он завещал, я еще слишком сильно люблю себя самого, я не исполняю в полной мере всех заветов Его! Но я хочу и буду более сильным, только не искушайте меня!
>
> (…) Сегодня я признаю только Евангелие Христово, потому что Он проповедовал простым людям, а не «мудрым», которых Он всегда порицал и бичевал, а, значит, оно не требует никаких посредников, потому что Христос

> был замучен за каждого из нас в отдельности и за всех вместе, и учил: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них» (Мат. 18).

Вся эта теологическая тирада Дзержинского, временами переходящая чуть ли не в крик, должна была показать Альдоне и ее мужу, насколько далеко они расходятся в подходе к учению Иисуса.

> Итак, я считаю, – продолжает Феликс, – что единственным заветом Его является любовь, любовь и еще раз любовь, проявляющаяся в делах, и учил Он, что любовь к Нему может быть исполнена только через любовь к ближнему своему. (…) Итак, я считаю, что вера без поступков мертва, лицемерна, что поступками этими не может быть грошовая милостыня, а только изменение сердца своего и всей жизни своей и жертвование собой ради ближних своих, ибо «пастырь добрый полагает жизнь свою за овец своих» (Иоанн 10), что поступки эти заключаются не во внешних знаках и словах – о них в Евангелии не говорится ничего, кроме порицания – но в совершении любви и исполнении заветов Его. Я считаю, что любой, кто исполняет заветы Христа, даже евреи (…), является христианином – ибо «кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь» (Мат. 12). Итак, я считаю, что ближним моим является любой человек: поляк, литовец, русский, еврей, немец, француз, турок, татарин, негр, индеец, китаец, папуас и т. д.»[145].

Сегодня трудно оценить, как на это письмо отреагировала сестра. Несомненно одно: она его бережно хранила и показывала доверенным людям в качестве доказательства, что брат никогда не был непреклонным атеистом. Конфликт теологической природы между ней и Феликсом не закончился с его смертью. Он продолжался долго, вплоть до смерти самой Альдоны в 1966 году, о чем шли разговоры в кругах варшавского духовенства. Архиепископ Юзеф Жычинский вспоминает:

> Ксендз Бронек Бозовский, который в свое время был капелланом в монастыре сестер визиток на Краковском Предместье, говорил мне, что среди вверенных его заботе верующих некоторое время была Альдона Дзержинская, сестра Феликса. Иногда она приходила в ризницу, чтобы заказать святую мессу за брата. Объясняла это так: – Батюшка, Феликс был отъявленным негодяем. Но может Господь Бог в своем милосердии не отослал его в пекло, а все еще держит в чистилище. Может я смогу ему помочь этой святой мессой? Отслужите, пожалуйста, батюшка.

И ксендз служил, даже несмотря на то, что просьба звучала странно: отслужить мессу за упокой души Феликса Дзержинского, в то время как память о нем ассоциировалась с профессией палача, и руки создателя ВЧК на только что установленном памятнике были сразу окрашены в красный цвет[146].

В письме от 1901 года содержится следующая информация: Феликс признается: Евангелие он прочитал, уже будучи социалистом – что является проблемой чрезвычайно важной и симптоматичной для польского католицизма.

> Я раньше не знал настоящего Христа, мне никто на Него не указал, – пишет молодой Дзержинский, – и только теперь я познал Его из собственного Его учения, потому что впервые прочитал Евангелие, слова, которые так просты, каким простым был и сам Учитель, наш единственный,

> и я полюбил Его всей силой своей души, так как, еще не зная Его, я исполнял его заветы Любви[147].

Самой большой опасностью, которая вышла из недр социализма, оказалась диктатура пролетариата. Очень скоро она стала просто диктатурой. (Не будем, однако, забывать, что и Церковь прошла свой этап инквизиторского безумия). В воображении Ивана Карамазова севильский инквизитор говорит самому Иисусу: «завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли»[148] – ибо мастер Достоевский отлично знал, что идеология – это дитя идеи, вырастающее в ее смертельного врага.

В 1901 году Феликс был молодым социалистом, который жаждал объять человечество своей любовью, обогреть его и отмыть от грязи, словно Христос – и трудно не верить в чистоту его намерений. С назначением на должность председателя ВЧК чувства Дзержинского к человечеству никак не изменились – только это уже была любовь Марата. Слепое следование долгу осчастливить при помощи огня и меча. А смог бы он вместе с севильским инквизитором развести огонь под костром Христа? У меня не хватает смелости ответить на этот вопрос.

VIII. Тот, которого ловят и вяжут. Беглец

Пять лет ссылки в восточную Сибирь – таков его второй приговор. Не только за нелегальную деятельность, но и за побег из первой ссылки. Пять лет – это много, но Феликс не падает духом. Приговор вынесен в ноябре 1901 года, а вскоре он заявляет Альдоне: «Якутские морозы не так страшны, как холод эгоистических душ» – поэтому, как он пишет, лучше Сибирь, чем неволя души.

> Еду уже через 3 недели, не делай глупости и не приезжай ни сюда, ни в Минск. Что после этих нескольких минут свидания, потом нам будет еще тоскливее. (…) Что же касается полушубка и валенок, не будет ли это затруднительно для вас? Если захотите мне прислать, то пришлите сюда, в Седльце[149].

Ему предстоит ехать через Минск и Москву далеко на северо-восток – в Вилюйск, старое место ссылки в Якутии. «Меня высылают, наверное, через два дня, – пишет он в январе 1902 года. – Радует меня и то, что через два месяца буду свободен [то есть в ссылке], потому что тюремные стены так действуют мне на нервы, что уже не могу хладнокровно смотреть на сторожей, стены, решетки и т. п.»[150]. Тогда он уже отсидел двадцать три месяца.

18 марта 1902 года из пересыльной тюрьмы в Александровске Иркутской губернии:

> Дорога из Седлец, продолжавшаяся два месяца, порядком меня утомила. Из Самары ехали без отдыха 10 суток, и теперь надо немного поправить здоровье, потому что не очень хорошо себя чувствую. И еще: у нас есть книги, немного читаем, но больше разговариваем и проказничаем, заменяя настоящую жизнь – пародией, забавой[151].

Но желание жить «настоящей жизнью» было, видимо, очень велико, потому что 19 мая в Александровской тюрьме вспыхнул бунт. Заключенным запретили выходить с охранниками за ворота тюрьмы, чтобы купить продовольствие, а камеры стали запирать на час раньше. В ответ политические провели собрание и потребовали отменить эти ограничения. Когда администрация отказалась, то на очередном собрании заключенные приняли – вспоминает социалист Андрей Сергеев – «далеко идущее и самое революционное предложение тов. Дзержинского, а именно: выбросить из тюрьмы всю охрану (было не более 10 охранников), закрыть ворота и не впускать тюремную администрацию, пока все требования не будут выполнены»[152]. Так и сделали: ворота забаррикадировали, над ними вывесили флаг с надписью «Свобода», а весь этап провозгласили самостоятельной республикой, не признающей власть и законы российского государства. Вице-губернатора, приехавшего на следующий день для переговоров, внутрь тюрьмы не впустили. Переговоры проходили через дыру в ограждении. В конце концов, царский чиновник уступил: он вернул прежние привилегии и не применил к бунтовщикам никаких репрессий.

В конце мая Дзержинский отплыл в полуторамесячный путь с транспортом заключенных. Ему предстояло преодолеть четыре тысячи верст по реке Лена – но до Вилюйска он так и не добрался. Он задержался в Верхоленске, где познакомился с Львом Троцким, который позже напишет, что летом 1902 года там началась настоящая эпидемия побегов. Дзержинский тоже мечтал об очередном побеге. Хенрик Валецкий из ППС[153], опытный ссыльный, подсказал Феликсу, чтобы тот еще в Верхоленске симулировал болезнь, потому что из Вилюйска бежать уже не удастся, так как он расположен очень глубоко в тайге. Феликс притворился, что у него аппендицит, а подкупленный фельдшер подтвердил диагноз и оставил

его в больнице. В дальнейший путь Дзержинский должен был отправиться со следующим транспортом ссыльных, но уже через несколько дней он нашел себе товарища по побегу – Михаила Стадкопевцева, русского эсера. Ночью 12 июня они вместе поплыли на лодке по Лене.

Колокол на церкви пробил полночь; два беглеца потушили свет в своей избе и через окно украдкой, чтобы не разбудить хозяев, вылезли наружу, во двор. (…) Как разбойники, они прокрадывались мимо хат, внимательно всматриваясь в темноту, нет ли кого, не поджидает ли кто их. Было тихо, село спало. Только ночные сторожа время от времени стучали в свои колотушки, подавая знаки друг другу.

Наконец, на Лене они отыскали

> лодку и сели в нее тихо-тихо, чувствуя в себе силу и веру, что им удастся бежать отсюда. (…) Дыхание перехватило, сердце радостно сжалось – они плывут, село быстро удалялось, пока не исчезло в темноте. И тогда радостный вскрик вырвался из их души, измученной более чем двухлетним пребыванием в тюрьме.

– вспоминал Дзержинский. Историю этого побега он красочно изложил в первом номере «Красного Знамени». Описанный там образ жизни и ментальность сибирских крестьян напоминает прозу Салтыкова-Щедрина или Гоголя.

> Мы живо принялись за работу. До 9 утра надо было преодолеть пятнадцать миль, – продолжал он. – Гребли по очереди. Течение было быстрое, поэтому лодка как птица летела по глади реки, окаймленной высокими берегами, лугами и лесами. Ночью при луне все это выглядело фантастически и таинственно. Кое-где по берегам горели костры, отражаясь в воде. Они избегали таких мест, старались плыть в тени (…). Но переполнявшая беглецов радость и чувство спокойствия вскоре ушли: впереди они услышали какой-то шум, как от водопада (…). Шум все нарастал и, наконец, перешел в грохот; уже можно было понять, что это столкнулись две стихии. Впереди показался огромный остров, на его левой стороне над водой нависли скалы, и это с ними так оглушительно боролись волны.

Беглецы обошли это опасное место, направив лодку вправо, вздохнули с облегчением. Но остров заканчивается и снова грохот; течение хочет сбросить лодку между скалами вниз. Здесь стояла мельница. Река между островом и берегом была перегорожена плотиной, и вода с шумом устремлялась через плотину вниз. Они вовремя остановились, причалив к берегу. Что делать? Перед ними была мельница, плотина и пропасть, слева огромный остров с покатым берегом, за ним скалы. На мельнице, видимо, спали, собак, к счастью, не было, только кони заржали беспокойно и галопом умчались от берега. Один из беглецов пошел на разведку: может, удастся потихоньку протащить лодку по берегу мимо мельницы. Второй остался в лодке. Разведка ничего не дала. Надо было возвращаться против течения назад, среди скал наверняка был проход (…). Но ночью, при таком бешеном течении поиск прохода был связан с огромным риском. Тем более, что луна уже скрылась, светало и туман начал подниматься выше над рекой. С огромным трудом им, наконец, удалось перетащить лодку на другую сторону острова. Двадцать раз они ухватывались за лодку, напрягали все свои силы, чтобы продвинуть ее на расстояние двух-трех шагов. Наконец, обессиленные, они столкнули лодку в воду на другой стороне острова, упали в нее и так плыли некоторое время, отдыхая.

Холод стал донимать утром, надели зимние пальто (…). Молчали, усиленно работая веслами. Их окутывал туман – серый, густой, темный. Вокруг ничего уже не было видно, (…) они плыли в безбрежном пространстве, замерзшие, несмотря на работу веслами, даже не ощущая, как быстро плывет их лодка, не видно ни берегов, ни неба, ни реки (…). Уже шесть,

а туман все не рассеивается, вдруг – о, боже! случилось что-то страшное: треск, крик и все… Погибли! (…) Это был еще один остров, и дерево развесило над водой свои толстые ветви: беглецы его не заметили, и лодка врезалась в дерево со всей силой. Сидевший на веслах не успел даже вскрикнуть – и был уже в воде. Инстинктивно он ухватился за ветку, точащую над водой, и вынырнул, но ватное пальто, пропитанное водой, тянуло его вниз, а ветка стала ломаться; он ухватился за другую, но и та была слабая. Выбраться самостоятельно он не мог, так как лодки уже не было. Однако второму удалось забраться на ствол дерева, и он помог товарищу выбраться из воды».

Они оказались на совершенно пустынном острове, лишившись всего.

Что тут делать? Там, за рекой, проходит дорога, и люди ездят, слышны их голоса и громыхание повозок, скоро их можно будет даже рассмотреть. (…)

Они договорились, как будут объяснять свое появление здесь, и один из них, не промокший, стал высматривать, не проедет ли кто мимо, а второй, искупавшийся в реке, разжег костер, разделся и давай плясать вокруг костра, чтобы согреться и обсохнуть. Наконец, он обсушился, а тут и крестьяне из ближайшей деревни подъехали на лодке. Их было несколько. На груди одного из них видна была бляха с царским знаком. Они перевезли потерпевших кораблекрушение с острова на берег, а те дали им 5 рублей. Уважения к беглецам, понуро смотревшим на реку, сразу же прибавилось. «Здесь утонули наши вещи и наши деньги, осталась только мелочь, 60 рублей, а остальные, несколько сот рублей, там на дне лежат! Как мы пойдем дальше? Что делать, что делать!». «Успокойтесь, как-нибудь обойдется, – успокаивали их крестьяне и уже без всякой подозрительности стали спрашивать, откуда и куда они едут, и в их голосах было слышно сочувствие и готовность помочь. Беглецы ответили не сразу, угрюмо ходили туда-сюда.

«Лошади скоро будут?»

«А прямо сейчас!»

«Я сын купца из города N., – наконец, сказал один из них, – а это наш приказчик. Мы ехали в Жигалово, чтобы там сесть на пароход и ехать в Якутск за костью мамонта, а тут…"

"Не убивайтесь вы так сильно, – снова стали успокаивать их крестьяне, – хорошо, что Господь Бог вас сохранил!" (здесь "купцы", наверное, перекрестились), – "мы вас на лошадях отвезем в Z., а там можете дать телеграмму домой, чтобы выслали денег".

"А, прекрасная мысль" – в один голос воскликнули беглецы и умолкли. Они пытались придумать, как бы выпутаться из ситуации; снова стали, задумавшись, ходить вперед и назад. (…)

Лошадей подогнали, крестьяне попрощались с жертвами крушения. (…) Десять верст ехали в село, где их встретили

собравшиеся крестьяне – весть о несчастных докатилась до села раньше – и сразу же уездный писарь сообщил им, что часть их вещей выловили недалеко от деревни, а они, если захотят, пусть подождут несколько дней, пока, может, и деньги их найдут. Жадность крестьян спасла беглецов; писарь стал говорить, что сейчас, когда вода мутная, быстрая, деньги вряд ли удастся быстро обнаружить: пусть купцы оставят свой адрес, пусть даже дадут кому-нибудь из крестьян доверенность на поиски. Когда деньги найдут, то они вышлют их в целости и сохранности. А пока господа могут телеграфировать домой, чтобы выслали денег. "Купцы" обрадовались такому предложению (…), но еще нужно было отвертеться от телеграммы. "Вы же знаете, – заговорил купец, – что у нас с деньгами обходятся осторожно. Поверит ли отец нашему несчастью? Скажет: прокутили, в карты проиграли, пусть теперь крутятся, как хотят, а я им ни копейки не пошлю! А мать, моя несчастная мать, что с ней, бедной будет, когда узнает о нашем крушении!" И "купец", расчувствовавшись, перекрестился с истинно православным благоговением, – "Господи, помилуй" – глубоко вздохнул, а вместе с ним и многие в толпе.

Нет, ничего не поделаешь: «купцам» надо ехать домой, причем не по шоссе вдоль телеграфной линии, а стороной, потому, что так короче, до железной дороги в сторону города N., их родного города.

Их провели в избу. Самовар шумит на столе, хозяйка выкладывает на стол свои "шаньги"[154], изба полна перешептывающихся баб и мужиков, рассказывающих друг другу, как все произошло. Они не хотят слишком надоедать «купцам», которые, задумавшись о своем несчастье, в молчании попивали чай. (…) Ох, дураки вы, мужики, дураки! Разве купцы бывают такие худые, как те, что сидят перед вами? Ох, дураки, вы даже не догадываетесь, что это те, кого надо ловить и вязать!

Наконец, уехали.

Ехали, не останавливаясь, днем и ночью через тайгу, через первобытный бескрайний лес, и возницы рассказывали им легенды о хозяйничающих в тайге разбойниках и бродягах, убийствах и грабежах, о беглых каторжниках и ссыльных, об охоте на этих беглецов. И чем больше они рассказывали, тем ощутимее становилась темная, таинственная, вечно шумящая тайга, и появлялись из чащи тени убитых и не похороненных, тени умирающих с голода и проклинающих мать, которая родила их на свет; тени заблудших, что в безысходном отчаянии бьются о стволы деревьев. (…) А тайга все шумит и шумит…

Возницы и лошади менялись каждые 6-10 часов. Беглецы быстро продвигались вперед, все ближе к цели. Очередная легенда о потерпевших крушение рождалась тут же, при них, так как каждый из возниц пересказывал ее следующему, добавляя что-нибудь от себя, а «купцы» смущенно вздыхали, а когда никто на них не смотрел – весело улыбались. Потому что им чертовски везло. Скоро тайга должна была кончиться, до деревни осталось 20 верст, сибирские выносливые лошади бежали без перерыва уже 80 верст. Вдруг впереди слышен колокольчик, это кибитка, запряженная тройкой, это кто-то из царских слуг едет!

«Купцам» внезапно захотелось спать, они укладываются и накрываются пальто. Это исправник с сельским начальником поехали осматривать дорогу. Проехали… Близилась ночь, когда они выехали из тайги. Деревня здесь же, на краю леса (…). Тут видят на дороге мужиков с шапками в руках и седого старца на коленях. Они, видимо, приняли «купцов» за царских слуг (…). Кланялись представителям власти, а у тех ни эполетов, ни знаков, кто такие? Стой! Схватили лошадей под уздцы, окружили бричку. Были пьяны. Пропили деревенские деньги вместе со своим старостой, а теперь хотели просить прощения у власти, чтобы избежать наказания. Но это не чиновники, и «Кто вы? Откуда? Куда? Зачем?».

«Прочь, разбойники, как вы смеете нас, купцов из города N., здесь на дороге останавливать. Мы вам, сволочи, покажем! Прочь с дороги! Возница, поезжай дальше, огрейка кнутом эту пьяную свору!" – строго закричали "купцы", хотя по коже мороз пробежал. Неужели успели предупредить этих мужиков? Нет, вряд ли. Может, еще удастся спастись! (…) Началась словесная перепалка. У "купцов" был один паспорт, показали его старосте, а второй из них демонстративно достал листок бумаги и стал громко, вслух "писать жалобу" генерал-губернатору, что их, хорошо ему известных людей, задерживают, как каких-то преступников, на дороге, нападение учиняют его люди с царскими бляхами на груди, наверное, хотят получить на водку. Наконец, он обратился к нескольким мужикам, чтобы они были свидетелями против старосты. Мужики испугались и ноги в руки, а староста начинает извиняться, приглашает: *Пожалуйте в барскую комнату*, и обещает, что сейчас же распорядится, чтобы подали лошадей, только господа купцы пусть не гневаются».

В деревне они не остались, потому что узнали, что исправник должен скоро вернуться и остановиться именно в этой избе. «Но пришел староста и вызволил их из беды. Увидев его, «купцы» страшно возмутились: «Ты, староста, как ты смел нас задерживать, требовать документы, как у разбойников? (…) Нападать на дороге на проезжающих купцов! Нет, мы это так не оставим!» – полные достоинства, разгневанные и оскорбленные, «купцы» ни на

минуту не захотели оставаться под одной крышей с таким бандитом, пьяницей и мерзавцем, велели отнести свои вещи в повозку и поехали искать, где нанять лошадей и двинуться в путь.

Это было последнее приключение беглецов (…). Без происшествий они проехали по бурятским степям и через несколько дней уже сидели в поезде, который и привез их туда, куда они так стремились. Побег длился 17 дней, а в ту сторону, в ссылку, стражники везли их четыре месяца»[155].

В августе Дзержинский добрался на Виленщину и сразу направился в Поплавы к кузине Станиславе Богутской. По ее воспоминаниям, он неожиданно заявился летним днем 1902 года, измученный, в рваной одежде и дырявых ботинках, с опухшими после долгой ходьбы ногами, но веселый и счастливый, и сразу начал играть с детьми. Он намеревался бежать за границу, но решил еще заехать в Мицкевичи, чтобы повидать Альдону. «Возвращаясь с детьми с прогулки, я вдруг увидела Феликса, сидящего у нас во дворе, – вспоминала сестра. – С невыразимой радостью я бросилась к нему на шею, чтобы обнять его, а он мне шепнул: «Называй меня Казимиром». Мой четырехлетний сын [Тонио] очень удивлялся, когда я называла его то Казик, то, забывшись, Феликс, и спрашивал: «Как же на самом деле зовут моего дядю?»[156].

История этого побега, опубликованная на страницах «Красного Знамени» (конечно, в целях безопасности без упоминания фамилий и какой-либо информации о беглецах) произвела сенсацию в среде социал-демократов, ну, и укрепила легенду о Дзержинском. После Варыньского, который не расставался с браунингом, и Каспшака, который при аресте положил четырех полицейских, – у Феликса были все шансы стать очередным героем.

IX. У него большевистское сердце. Профессиональный революционер

В августе 1902 года Феликс уже в Берлине. Побег из ссылки означал для него непременный отъезд из России из-за угрозы нового ареста. Побыв три дня в Мицкевичах, он перебирается в Варшаву, а оттуда быстро едет в столицу Германии. Конечно, по левым документам, под именем Юзеф Доманский. «Юзефом» он останется надолго – с этого момента это его партийный псевдоним.

За два года, которые Дзержинский провел в тюрьмах, в государстве российском произошло много событий. Эстафету террора от народовольцев приняли эсеры[157], проведя серию акций, которые поместят Россию на первое место среди государств, борющихся с проблемой терроризма, а в 1902 году Владимир Ленин написал *Что делать?* – знаменитую программу революционной партии нового типа. Оппозиционную, с одной стороны, к действиям эсеров, а с другой – к экономизму, постулирующему, прежде всего, борьбу за права рабочих. Ленин делает ставку на политику и не скрывает стремления захватить власть в России. Он обосновывает понятие «профессиональный революционер», который должен полностью посвятить себя партийной и пропагандистской работе. И постулирует централизацию власти в руках все тех же профессионалов. Это предвестие диктатуры пролетариата.

В Берлине Дзержинский впервые встречается с авангардом польской социал-демократии: Розой Люксембург, Юлианом Мархлевским, Леоном Йогихес-Тышкой и Адольфом Барским[158] – то есть с четверкой людей, которые через некоторое время будут называться берлинцами. Польские социал-демократы уже тогда установили контакты с русской социал-демократией, благодаря знакомству старейшины рабочего движения Цезарины Войнаровской[159] и Розы Люксембург с издателями газет «Искра» и «Заря», то есть с находящимися в эмиграции Владимиром Лениным, Георгием Плехановым, Львом Мартовым и Федором Даном. Особенно Роза восхищалась их публицистической деятельностью, читала их материалы и рекомендовала другим.

В это время руководители польской социал-демократии готовят в Берлине конференцию заграничных ячеек СДКПиЛ. Дзержинский письмом приглашает на конференцию Войнаровскую, проживающую в Париже.

> Я приехал из Сибири. И хочу посвятить остатки моих сил нашему общему делу, – сообщает он в письме. – Именно поэтому я взялся за это. Сделав здесь все дела, я снова уеду в Польшу. Добавлю, что мне 25 лет (пишу это, так как Вы можете удивиться, увидев меня таким молодым)[160].

Действительно, по сравнению с берлинцами он – мальчишка, но производит на них очень хорошее впечатление, даже несмотря на то, что упрекает их в отрыве от масс в Польше. Он необычайно активен: он является инициатором создания Заграничного комитета СДКПиЛ и становится его секретарем, а также предлагает издавать «Красное Знамя» – новый печатный орган партии, который, по его замыслу, должен стать газетой для массового читателя. Роза Люксембург, как утверждает Эдвард Прухняк[161], по достоинству оценила его активность, отчаянность и работоспособность. Одновременно – об этом Прухняк не упоминает – отмечает и его фанатизм. Там, где для нее было пространство для холодного расчета и теоретических выводов, для него существовала сфера *sacrum*, наполненная миссионерскими делами. Поэтому очень скоро Роза будет говорить: “У него большевистское сердце”. Она быстро обнаружит в нем стремление улучшить мир в ленинском (то есть – сектантском) стиле, с которым она был не согласна. Прухняк отмечает, что больше всего Люксембург

ценила в Феликсе “полное отсутствие интеллигентского налета, его абсолютную гармонию с рабочим классом”, а также то, что он “умел все идеологические вопросы переводить на язык практики и организации”[162]. К тому же был абсолютно лояльный и дисциплинированный. Он никогда не принимал решений за спиной берлинской четверки. Лев Троцкий вспоминал, что как партийный деятель, Дзержинский всегда нуждался в чьем-то политическом руководстве, и с этим следовало согласиться, потому что его считали революционером, а не политиком. Когда он стоял перед выбором между реальной работой и властью, он всегда выбирал работу. Он был типичным организатором[163].

Чтобы издавать «Красное Знамя», Дзержинскому надо было ехать в Краков, в то время идеальное место для конспираторов. Австрийские власти давали полякам достаточную свободу, особенно тем, кто занимался заговорами против двух оставшихся захватчиков: германского Рейха и царской России. К тому же город располагался недалеко от русской границы, что облегчало подпольщикам контакты с соотечественниками из Конгрессовки и переброску литературы и оружия на его территорию. Дзержинский должен был забирать материалы у авторов, редактировать и корректировать тексты, организовывать распространение газеты. Первый номер «Красного Знамени» он готовит еще в Берлине. Напечатанный в Швейцарии, в ноябре 1902 года он появляется в Кракове, и Феликс организует его переброску в Польское Царство. Но годы, проведенные в тюрьмах, сильно подорвали его здоровье. Товарищи отправляют его в партийный отпуск: две недели он провел в Швейцарии на Женевском озере. Оттуда он перебирается в санаторий в Закопане, куда ему помог устроиться врач и товарищ по партии Бронислав Кошутский. Проведенное обследование показало, что «состояние легких Феликса не вселяет беспокойства за его жизнь (кавернозная форма)». «Феликс приписывал это тому обстоятельству, – вспоминал Кошутский, – что в тюрьме в Седльцах, где перед ссылкой в Сибирь он находился достаточно долгое время, тюремный врач делал ему подкожные уколы мышьякового препарата»[164].

27 декабря 1902 года он пишет Альдоне из Закопане: «2 месяца лечения значительно облегчили мое состояние, я поправился, меньше кашляю. Я отдохнул, и тянет меня в город». 8 января 1903 года он сообщает уже из Кракова:

> «У меня большая комната за те же деньги, даже дешевле, я отлично устроился и смогу продолжать лечение. Рядом живет мой друг врач, он за мной присмотрит.
>
> А я пытаюсь записаться в университет, хочу немного подучиться, пойду на философию, только не знаю, примут ли на I-й семестр, думаю, уже слишком поздно[165].

Все закончилось благими намерениями – нет никаких следов пребывания Дзержинского в стенах Краковского университета.

Краков в начале XX века переживает культурный расцвет. В кофейнях гуляют цыгане, подогретые абсентом и крестьяно-фильством. Выспянский только что написал свою знаменитую драму *Свадьба*, а на сценах театров царит Хелена Моджеевска. Но революционерам этот город кажется странным[166]. «Ведь здесь тоже родной край, польский, но жизнь тут настолько отличается от нашей; люди здесь целыми днями просиживают в пивных и трактирах, и часто хочется убежать из этого Кракова со всеми его историческими памятниками, пивными, сплетнями и сплетенками», – сетует Феликс в письме сестре. «Но я должен здесь сидеть и я буду сидеть»[167], – добавляет он. Но это просто жалобы, потому что Кошутский вспоминал:

> Он [Феликс] проявлял необычайную подвижность и энергичность. Кроме организационной работы, он принимал деятельное участие в

> редакционных совещаниях, поддерживал переписку с товарищами в Польше и за границей, много раз ездил по партийным делам либо в Царство Польское, либо за границу – на съезды и конференции[168].

На Вавельском холме Дзержинский становится профессиональным революционером.

Так прошел 1903 год. Среди многочисленных поездок была и поездка в июле в Берлин на IV съезд Социал-демократии Королевства Польского и Литвы, созванный по инициативе Дзержинского и Адольфа Барского. Целью съезда было обсуждение вопроса об объединении с Российской социал-демократической рабочей партией. II съезд РСДРП начал свою работу в конце июля в Брюсселе, но из-за целой армии сыщиков и шпиков, которые, по воспоминаниям Троцкий, как блохи сидели в тюках шерсти, хранившихся на складе, в помещении которого должны были проходить заседания, съезд перенесли в Лондон. В связи с тем, что на съезд планировалось пригласить представителей польской социал-демократии, еще в марте они получили письмо от Мартова, написанное от имени всей редакции “Искры”, с вопросом, в “какие отношения с РСДРП хотела бы вступить СДКПиЛ?”[169]. Ответ от имени партии, вежливый, но осторожный, написал Адольф Барский: «Фактически до сих пор мы не связаны с российским движением ни формально принятой общей программой, ни общей организацией, и поэтому мы не признаём за собой право причислять себя к РСДРП», и в заключение четко заявил: «Что же касается деталей совместной программы и организационных форм, то их обсуждение как раз и должно входить в задачу съезда»[170]. Как позже оказалось, и программа, и организационная форма стали причиной конфликта. В конце концов русские направили приглашение для двух представителей. Делегировали Барского и Якуба Ханецкого. Они сделали русским заявление от имени поляков: польские социал-демократы не могут присоединиться к общероссийской социал-демократии, так как она в своей программе выступает за право наций на самоопределение. Тем временем, польский пролетариат не должен принимать участия в борьбе за возрождение польского государства, а право наций на самоопределение может использовать ППС в своих националистических целях. Авторами этой декларации были Люксембург и Тышка. Ханецкий хотел даже потребовать, чтобы РСДРП официально осудила ППС, но Люксембург отговорила его от этого. Дзержинский решительно поддерживал позицию Розы[171].

Перегруженный работой, Феликс пишет Альдоне только в декабре 1903 года из Берлина: «Больше полугода мы не писали друг другу. Много раз я порывался написать, но ничего веселого не мог тебе сообщить. Мне не хотелось писать тебе только о своих проблемах»[172]. В политическом отношении это был очень напряженный период, а в личной жизни ему приходилось бороться со смертельной болезнью невесты и с бедностью. У него появляются долги, главным образом таким же революционерам. Поэтому время от времени он просит родственников помочь ему – сестру Ядвигу, братьев, предлагая им свою долю в правах на семейные земли в обмен на деньги. В конце концов, при посредничестве Альдоны он получает 600 рублей, которые родители откладывали на его учебу. Радуется, что этих денег хватит ему на два года.

> Я был зол на братьев, что не пишут, не помнят, ведь через Казика[173] они могли меня всегда найти, – жалуется он сестре. – Все это время я мотался по всей Европе, не имея возможности ни отдаться полностью любимому делу, ни найти постоянного заработка. Я зависел от людей и это отравляло мне жизнь. (…) Напиши мне, дорогая Альдона, где Стас, Игнас и Владик. А детишки, наверное, здорово выросли. А какие успехи у Рудольфика в учебе? Напиши мне обо всем, как только у тебя будет время, знаешь, как меня интересует каждая мелочь.

Потом он опять долго молчит, а когда через четыре месяца напишет Альдоне, то будет объяснять: «не в забывчивости причина, просто мне приходится очень много работать»[174]. За это время он успел стать членом Главного правления СДК-ПиЛ, вновь съездить в Швейцарию на лечение, он часто бывал на тайных собраниях польских рабочих, в частности, в Лодзи и в Домбровском угольном бассейне[14].

[14] Домбровский угольный бассейн – северо-восточная часть Верхнесилезского каменноугольного бассейна, исторический и географический район на юге Польши. – *Прим. перев.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.